

Наталья
СТРЕМИТИНА
Австрия



ПРОЩАНИЕ В СЕЗОНАХ

Повесть

В толпе, усиленно работая локтями, меня отталкивает женщина и пробирается к выходу.

Я снисходительно улыбаюсь и думаю: «Она полагает, что обогнала меня.

На самом деле я вовсе могу не двигаться и буду на сотню-другую лет впереди.

Просто она работает локтями, а я головой...»

Из дневника

— Ох уж, эта самостоятельность, — сказала мать, когда Женя уверенно заявила: «Поеду на озеро Селигер, уже деньги за отпуск получила. Возьму удочки, буду рыбу ловить, а если тепло будет, то и купаться можно».

— Одна едешь? — глядя исподлобья, задала мать самый волнующий вопрос.

— Одна.

— А почему не с Игорем?

— Мама, я же говорила, что ничего у нас с ним не было и не будет, понимаешь?

— Нет, не понимаю. Он ходит ко мне чуть ли не каждый день. Все часы в доме перечинил, даже стиральную машину исправил! Я к нему привыкла: всегда вежливый, уважительный. У него и квартира двухкомнатная, и работа хорошая. Парень он трудолюбивый и тебя любит. Ну чего тебе надо?

— Мне с ним скучно, мама. Это человек не моего уровня, и я его не люблю. Он меня попросту не волнует!

— Вот уж причина. А то от любви много проку. Ты уже вышла замуж по любви. И что? Сын растет, а мужа нет. А тебе не восемнадцать! Мы с отцом не вечные, как ты будешь жить?

— Мама, ты опять, — сказала Женька и подумала, как её тошнит от циничного расчета — стиральную машину починил и получай взамен мою дочь. Неужели она не стоит большего?

Женька продолжала «витать в облаках». Не вернул на землю даже неудачный брак. Она постаралась не заметить того, что с ней произошло. Главное — она осталась жива и здорова, а ведь могла попасть в психушку — шутка ли, три года прожить в одной комнате с сумасшедшим. После развода её комната с роялем оказалась ей раем, и она сказала себе:

«Теперь я свободна!»

Жизнь представлялась Женьке бесконечным путешествием. Она просыпалась утром, замирая от волшебства прочитанной вчера книги, и как бы пускалась в новую страну, не видя, не замечая вокруг себя почти ничего.

После короткой эпопеи — поступления в Студию-МХАТ (из 10 тысяч девочек её отобрали на 3-й тур!), но на 3-м туре она с треском провалилась и, чтобы успокоиться и не сойти с ума от обиды, быстро поступила на философский в МГУ: два месяца занималась каждый день по 12 часов в исторической библиотеке, никто не заставлял, никто не понукал — благо с медалью нужно было сдать только один экзамен.

История философии стала любимым предметом: читала трактаты Гесиода и Марка Аврелия, размышляла над диалогами Платона, восхищалась Сократом, воистину её захватила игра Ума великих мужчин. Они обдумывали мир, они задавали друг другу вопросы, на которые до сих пор ни у кого нет ответа.

Она будто попала в бесконечный лабиринт идей и открытий. Это был мир, где человек и даже женщина может с лёгкостью переноситься из страны в страну, из одного века в другой. Никакие личные драмы, мелкие обиды и огорчения не могли отвлечь её от процесса Познания, Женька вышла на берег Мысли, куда завлек её маленький ручеек детской любознательности...

* * *

Живые конкретные люди и по сей день очень мало ценят чистую Мысль, не меркантильно-разодетую, а ту, что парит над Землей и путешествует во времени и пространстве. Но Мысль вовсе не обижается на обывателей, она не ищет выгоды, ей хватает себя самой. Часто, не найдя ни одного пристального взора, обращенного к ней, она покидает околоземные пространства и летит в галактические дали.

Никто не кричит ей вслед: — Постой, мысль! Ты нам нужна!

Все призывают Силу, Могущество, Деньги, Красоту, но лишь избранные понимают, что твоя собственная Мысль может дать тебе и истинную Свободу, и неистощимую Силу.

Тот, кто обладает Мыслью, — обладает всем миром.

* * *

А у мамы вечная забота — как жить, на что? Неужели в этих практических вопросах смысл жизни? Чтобы не продолжать этот мучительный разговор, Женька торопливо целует мать и сына и идёт к себе домой, в свою комнату в коммуналке, что досталась в наследство от бабушки, из-за которой и состоялось её первое замужество. Жилплощадь в Москве была в те времена неплохой приманкой для притких провинциалов, что рвались в Москву и выискивали романтических дур...

— Всё-таки странная у меня дочь, — думает Клавдия Михайловна, сидя у самодельного абажура, ловко орудуя иглой с ниткой. — Уж я ли не любила, не заботилась о ней. Упрямая, колючая, никто ей не нужен: ни я, ни сын. Всё решает сама. Недавно ушла от мужа с ребенком двухлетним, и нет в ней ни бабьего горя, ни раскаянья, ни щемящей женской слабости. Нет, спокойная так, будто впереди её ждет наследство или принц какой. А сколько их в Москве, матерей разведенных! Что-то никто не рвется их осчастливить.

Нет, не понимает она дочь, холодом и тоской бьётся мысль:

— И зачем так мечтала о дочке, уж лучше бы сын, всё как-то надежней...

* * *

Надежность быть мужчиной ощущала и Женька. Еще в школе решала самая первая трудные задачки по физике, обожала доказывать теоремы, но никто её в этом не поощрял, скорее удивлялись, будто негласный закон убеждал — родилась женщиной и нечего тебе рваться к мужским серьезным занятиям. Этого никто не говорил вслух, но никто не требовал от неё того напряженного искания, что и приводит человека из детства в серьезную взрослую жизнь со своим важным делом.

Женька много раз слышала, как мать с гордостью говорила кому-нибудь по телефону: — У меня дочка хорошенькая, волноваться нечего, замуж выйдет!

Ведь не хвасталась же она её математическими способностями. В сознании матери был

четко обозначен тот жизненный предел, что приведет её дочь к счастью. Мучительно было это первое открытие, ведь если для самого близкого человека её единственная ценность — это хорошенькая мордашка, чего же требовать от людей чужих, незнакомых?

Женька возненавидела свою внешность. Уже в детстве разного калибра дяди и тётки только и говорили слащавенько:

— Девочка, ты не моешь глазки! — И потом в юности: — Какие красивые черные глаза!

«Да провалитесь, мои глаза!» — думала Женька. Никто не хотел видеть её взбудораженную душу. Как ей хотелось стать уродиной. Тогда всё мелкое и пошлое отлетело бы шелухой, никто не улыбался бы ей просто так, не заискивал.

Вот и получалось, что быть молодой и красивой — это всё равно что выиграть в лотерею с природой, и выигрыш этот, полученный даром, не имеет ни цены, ни значения и не только не помогает, а пугает карты Судьбы...

* * *

Женька родилась в семье, где мать и отец дополняли друг друга. Отец — идеалист, интеллектуал, мать — душа общества, веселая, общительная, легкомысленная, она любила танцевать и покоряла мужские сердца.

Эти люди умели радоваться жизни каждый по-своему: отец новой книге или новому открытию, а мать придумывала необыкновенные наряды для себя и для своих знаменитых клиенток, которым она изредка шила.

Детей у инженера и его жены долго не было, и всю свою молодость они много путешествовали — работали на Дальнем Востоке, проектировали новые города (мать работала с отцом в одном проектно-институте), отдыхали в дружной компании в домах отдыха и даже ездили к морю, ибо санаторное лечение в те времена было доступно многим советским гражданам. Долгие годы они были свободны и счастливы и самозабвенно предавались радостям жизни, ибо отец обожал свою работу, а мать увлекалась альпинизмом и при первой возможности отправлялась на восхождение на Кавказ или на Тянь-Шань.

Жизнь без детей, а значит и утомительных однообразных забот и вечной зависимости от кого-либо из домашних, сделала их беспечными, словно дети, которых они не имели. Женька появилась на свет после двадцати лет брака, и её рождение было праздником для матери. А ведь причина бесплодия была романтической — дерзкое купание в Енисее, холодной сибирской реке с сильным течением, которое вполне могло закончиться гибелью.

Итак, Женька родилась в пору зрелости только видимой, на самом деле сорокалетие родителей было приурочено к моменту их первого оглядывания вокруг себя. Так бывает, когда подросток, заигравшись в компании сверстников, обнаруживает, что на дворе вечер и надо бежать домой.

После рождения дочери семья как бы распалась на два лагеря — отец, отринутый на второй план со своими фантазиями и изобретениями, и мать, отныне занятая выхаживанием долгожданного птенца. Забыв обо всём, она самозабвенно предалась воспитанию дочери, вкладывая в Женьку удесяттеренную любовь ко всем её неродившимся детям.

Было нарушено стройное единство семьи, привычный уклад жизни. А изменить, приспособиться, обрести новое единство им так и не удалось. Привычка быть свободными, не связанными родительским долгом мешала им выйти из замкнутого круга маленьких эгоистических радостей.

Родители уже предчувствовали катастрофу неосуществленных желаний — не достало сил и времени, чтобы легкомысленная юность и долгие годы упоения жизнью вылились в нечто конкретно прекрасное: в новый проект у отца или необыкновенный покрой платья «для королевы» — мать к тому времени занялась модой.

Отец спешно принялся зарабатывать деньги и забросил свои изобретения, а его жена бросила рисование, поддавшись инстинкту самоотверженной самки.

Мама была с Женькой постоянно, назойливая, вечно озабоченная пищевыми проблемами дочери, она могла часами сидеть подле неё и уговаривать съесть еще кусочек. У пятилетней Жени кружилась голова от безмерной материнской любви. Талантливая, веселая мать вдруг разом забыла обо всём, что составляло её жизнь. Жень-

ка — позднее чадо, росла упрямой и возненавидела всё, что навязывала ей в своей безмерной любви мать, — дорогие конфеты в ярких обертках, пышные наряды и банты, вечное стремление нравиться не важно кому — всё вызывало раздражение и ярость.

Однако бацилла исключительности проникла в сознание Женьки, и спустя много лет она с благодарностью вспоминала рабски преданную мать, что в угоду своему тщеславию заставила Женьку заниматься музыкой и научила её быть естественно-элегантной, иметь свой стиль.

Отец самозабвенно любил мать, но поплатился за всегдашнее равнодушие мужчины к духовным порывам женщины. Прожив с ней долгие счастливые годы, он никогда не думал о ней как о человеке, и она, попав в долгое изнурительное рабство материнства, почувствовала свою власть над ним, и отнюдь не духовную. Она попросту сумела воспользоваться силой своего характера. Как и многие женщины, не удовлетворённые своей жизнью, она исподволь будет душить и тиранить всё лучшее, что было в нём, и это будут скрытые удары из-за угла, как бы желание перекроить его по своему образу и подобию.

Вместо того чтобы бороться за сохранение своей исключительной самости, мать Женьки принялась «разрушать» отца, чтобы «довести» его до своего уровня. Может быть, это справедливая кара за пренебрежение к её незаурядным способностям, которым отец не придавал серьёзного значения?

И светлый образ матери, который проступал в сознании Женьки в самом раннем детстве через пелену бессознательного, постепенно тускнел, засорялся вечной суетой возле кастрюль, заикленностью на тряпках, прическах, замораживался в одиноких ожиданиях отца. И мать из доброй, искрометной женщины со вкусом к жизни, к людям, жаждущая везде и всегда праздника и способная создать его сама (за что и восхищались ею, и любили многие мужчины и женщины), перестала быть центром своего дружеского райка, а незаметно превращалась в озабоченную, замученную мамашу, которая уже целиком полагалась на дочь как продолжение своей неумемной жажды жизни. Её мозг, живой и подвижный, постепенно замедлял свои обороты, и всё богатство этих чудодейственных клеток отныне будет

занято только сиюминутным, обыденным, тривиальным, далеким от Женьки...

* * *

Мать и отец подступались к ней с разных сторон: бывшая модельерша упорно наряжала Женю как куклу, повязывала банты, а отец покупал конструкторы и учил азам математики, науке, которую признавал единственно важной, ибо на точном расчете строилась его любимая инженерия.

Банты и наряды раздражали Женьку, она испытывала отвращение к лоскуточкам, сумочкам и часто не понимала своих маленьких ровесниц: они хныкали, выпрашивая конфетку, пеленали своих кукол и, еще совсем маленькие, жмурили глазки, как бы заигрывая, кокетничая, будто учились великой науке оболъщения.

Женька уважала игры мальчишек: озорные, опасные, они требовали смелости и сноровки, и её колени всегда были содраны. Женька лазила на деревья, играла в «чижика» и гоняла на «велике» как заправский пацан.

Иногда, уходя на работу, отец оставлял дочери жестяную коробку с шурупами и говорил — вот придумай игру. И тогда «железное содержимое» извлекалось на покрывало полуторной кровати родителей, и шурупы по мановению волшебной палочки воображения превращались в солдат. И начинался парад. Шеренги пехотинцев выстраивались по два или по три в ряд, затем происходили сложные перестановки, звучали отрывистые команды. Впереди стояли самые могучие воины — толстые короткие шурупы с большими плоскими шляпками, за ними шла малоустойчивая гвардия тонких. Равновесие им давалось с трудом, и Женька хотела побыстрее увести их на поле сражения и там одним удачным броском подшипника из той же банки старалась «положить» всю «гвардию» в нижний бой. Им, возможно, удастся спрятать свои маленькие головки, и они будут ползти попластунски, а какой-нибудь самый смелый «солдат-шуруп» заберется во вражеский тыл...

Боковые фланги собирали разнокалиберный шурупный сброд, там даже попадались гвозди, гайки и шайбы. В представлении Женьки это

было что-то вроде штрафных батальонов, о которых она слышала, но понятия не имела, что это значит. Послевоенное дитя с удовольствием играло в войну, не подозревая о том, что её семья одна из 100, в которой никто не пострадал...

Итак, любимые игры проходили в одиночестве, когда мать оставляла Женю с бабушкой, а та, к счастью, была занята домашним хозяйством и не собиралась заглядывать внучке в рот. Тогда куклы (а они тоже дарились и покупались как атрибут воспитания девочки) разбирались на составные части и появлялись шприцы, а уколы легко оживляли пластмассовую или плюшевую армию убитых и покалеченных. Домашняя хирургия процветала.

Темперамент материнской любви обратился в Женьке в духовные игры, в её голове рождались фантазии сродни тем, что возникали когда-то в сознании дикаря, к тому же она унаследовала бурную энергию матери. Её организм требовал действия и немедленного: напряжения, выкладывания, истощения сил. Если бы можно было спуститься на дно морское или полететь в небо, она бы с удовольствием это сделала. Всё, что требовало риска, отчаянной смелости, влекло Женьку, было заманчиво до дрожи, будто генетический код завел «биологический механизм» на немислимые обороты. Нервные импульсы проносились со скоростью, что не дано было измерить современной наукой, требуя впечатлений и порождая в ответ бурю действия.

Женька всю жизнь расплачивалась за это огромное богатство, данное природой — вечной жаждой, безумным и неоправданным риском во всем, за что бралась; и всегда мучил вопрос о смысле этого движения.

В юности ей казалось, что нелепость появления на свет (в обиходе — рождение) не может быть компенсирована ничем земным и сущим, а только божественное может утолить эту нечеловеческую жажду познания и развития.

* * *

Самонадеянная мать Жени решила учить дочь музыке из тщеславия, чтобы доказать кому-то невидимому, на что способно её чадо, — она сама когда-то мечтала приобщиться

к людям искусства. И кто бы мог подумать, что пьесы Николаевой и этюды Черни незаметно уведут Женю от простых нормальных радостей, в которые свято верила мать Жени, и оставят её в недоумении перед дочерью.

А Женьке повезло — несколько лет её учителем был пианист и композитор, талантливый красивый человек, влюбленный в музыку. Он импровизировал на уроках, а Женька, зачарованная, наблюдала и слушала, как из простой мелодии рождается каскад гармоний, каким-то чудом извлекаемый всего лишь из одной только гаммы! На экзаменах они часто играли в 4 руки, и это радостное музицирование открыло ей истинное волшебство музыки, до которого часто не дотягиваются даже большие профессиональные музыканты. Встреча с композитором Городецким помогла преодолеть барьер нудного ремесла, когда погоня за техникой высушивает и отупляет неопытные молодые души (сколько нерадивых учеников возненавидели музыку), и приоткрылась заветная дверь в стене (таинственный мир Оскара Уайльда), и Женька попала в страну, где ничто не страшно: ни одиночество, ни уродство, ни бедность, и только душа властна или не властна делать человека счастливым, только разум пробуждает неведомые силы и ведет всё дальше от мелочной неразберихи страстишек, главная из которых зависть. И тогда Женька потянулась ко всякому искусству, её манила возвышенная театральность — зазвучало Слово. Его интонация в сказках Пушкина, что читала бабушка, сидя под оранжевым абажуром, голос Литвинова по радио — всё это поглотило Женьку как омут, но здесь в игру воспитателя вступил отец Женьки.

Отец приучал Женьку к умственной работе, как охотник натаскивает любимую собаку на дичь, доставляя удовольствие прежде всего себе, и уж, конечно, ему и в голову не приходило, что игры в шарады, математические головоломки избавят Женьку от сонной ограниченности, в которой пребывают почти все нормальные женщины.

* * *

Как и всё в мире, эксперимент с Женькой был поставлен случайно. Отец мечтал о сыне — поэ-

тому воплощал как умел в ней своё мужское могущество — думать не о мелком, а о великом, стремиться не к умножению плоти, старался организовать её дух. Врожденные способности Женьки радовали отца, он наслаждался быстрой умственной реакцией дочери и пропускал по её извилинам новую и загадочную информацию, а потом с гордостью демонстрировал дочь своим друзьям — пятилетняя девочка складывала и умножала в уме немыслимые числа...

А Женька, узнав однажды радость умственной удачи, всё вокруг обращала в задачу, требующую решения. В ней заработал мозг, способный к познанию.

Игра в вундеркинда была увлекательна и не ограничивалась традиционными представлениями о том, что должна девочка, а что мальчик. Эта стихийная метода воспитывала «человека», в котором рождалось абстрактное мышление. Могли думать отец о том, как далеко заведут Женьку интеллектуальные игры, к какому новому духовному качеству подготовят и выбросят, как неведомую зверушку (девочку с умом мальчика), из конкретности обыденной жизни в мир радостей абстрактных, солнечных, необъятных, к безумию творчества и вечному вопросу: ЗАЧЕМ Я?

Отныне она не могла примириться с пошленькой житейской истиной о хорошенькой мордашке и спрашивала себя с отчаянием: «Так неужели главное в жизни женщины выйти замуж? А мир, его открытия, интересная жизнь — всё это мужчине?» И что это за чудовищное разделение на «женское» и «мужское»? Отныне её влекло «человеческое».

* * *

Решив ехать в отпуск, Женя прощалась с Москвой, с центром, что был исхожен вдоль и поперек, понятен, как родной близкий человек.

Только в шумном большом городе человек одновременно одинок и ощущает себя в толпе причастным сотням людей, их лицам, заботам, радостям и волнениям. Город порождает обособленность, но и излечивает от неё тех, кто умеет наслаждаться богатствами культуры, кто бежит от одиночества в театр, консерваторию, кто знает и любит проникновенную тишину

музеев. Женька понимала эту тишину, жадно впитывала, но особенно была привержена музеям Пушкина на Волхонке в Хрущевском переулке и часто бывала в музыкальных салонах Москвы — в квартире Гольденвейзера по четвергам и в доме Скрябина. Именно в них она испытала вечную радость, не омраченную ничем, воспитала в себе пристальное внимание ко всему происходящему и спасалась от житейских бурь, обманов и разочарований.

Слово в маленьком уютном зале музея Пушкина было живым, всемогущим и будто только для тебя, оно прилетало из другого века, останавливало течение обыденной жизни и начинало другую жизнь, не подвластную времени, — жизнь поэзии и музыки.

Молодые и зрелые научные сотрудницы музея имени Поэта были не от мира сего. Маленькая зарплата возвышала над житейскими проблемами, а литературно-музыкальные концерты, которые Женька организовывала под руководством Анны Соломоновны Фрумкиной: ездила по школам — собирала публику, ходила в типографию, дарила трёшку директору, чтобы печатал «дешевый музейный заказ», пила красное вино вместе с толстыми и веселыми наборщицами, которые прочили её в «любовницы» директора, — над этой легендой Женька от души смеялась, бегала с цветами из музейного сада к самому Дмитрию Журавлеву: в общем, была младшим сотрудником на побегушках за 62 рубля 50 коп.

Этот давний опыт сослужит ей неоценимую службу через много лет в другой стране, при иных обстоятельствах, когда она, будто заразившись страшной болезнью приобщить всех к прекрасному, будет писать приглашения, составлять афиши, искать залы, радоваться и восхищаться таланту в людях и станет хозяйкой своего музыкально-литературного салона.

* * *

Лестница, ведущая в зал с колоннами в музее Пушкина на Волхонке, однажды привела Женьку к настоящему прозрению — она поняла, что может творить настоящий художник с теми, кто умеет видеть. Картины Ван Гога причинили ей сильную физическую боль, она

как бы пропустила через себя отчаяние этого бедного идеалиста, который находил сочувствие только у почтальонов.

Какая сумасшедшая страсть заставляла его искать верный колорит для своих простых и гениальных картин? Может быть — это Послание было предназначено персонально ей — учиться видеть, страдать и оживлять мертвую натуру Словом или Мелодией?

* * *

Женька с детства впитала суету и шум города, да, именно большой город воспитал её: сделал глаза зорче и внимательней к тысячам вещей, что двигались или стояли на месте, живые или каменные изваяния, враждебные или равнодушные. Женька жила взахлёб, умирая от жажды нового... Постоянное напряжение требовалось для того, чтобы пробираться в потоке машин и людей, и постепенно состояние борьбы сделалось привычным и доставляло радость, как радуется спортсмена сильный противник.

В словесных и умственных баталиях в институте и на работе Женька чувствовала себя, как на шумном перекрестке в центре Москвы, когда нужно внимательно следить за машиной справа и слева, и сзади, и ещё предполагать неведомую причину, что собьет тебя с ног и совершенно неожиданно прервет только что начатую мысль, а заодно и жизнь...

Но страха не было, потому что в эту игру она играла с детства, а с годами появился азарт — чем больше опасностей, тем увереннее она себя чувствовала: находила нужное слово, отвечая на резкий выпад коллеги, или загадочно улыбалась случайному знакомому.

А сейчас тянуло побродить по центру, окунуться в толпу, поймать чей-то взгляд, попытаться разгадать чьё-то лицо и просто пройтись по родным улицам...

Женька шла по Пушкинской, повернула в Художественный проезд, перешла на другую сторону и мельком посмотрела на здание театральной студии МХАТ, сердце забилося сильнее, щеки мгновенно покраснели, как будто горячая волна окатила с ног до головы, волна воспоминаний.

«Дальше, дальше от этого проклятого места», — подумала она и, завернув за угол, вздохнула

свободней и вошла в толпу на улице Горького, как в мягкий и вкусный пирог с разноцветной начинкой. Вышла к Манежной площади и перешла улицу к зданию гостиницы «Националь» и остановилась на мгновение, посмотрела на площадь и залюбовалась вычурными краснокирпичными зданиями музеев и ахнула про себя — ведь как часто здесь хожено, а только сегодня посмотрела внимательно на всю эту красоту.

Дальше маршрут был простой — дойти до улицы Герцена, зайти в клуб МГУ, может, театр Розовского порадует новой премьерой.

Но в клубе никого не было, и Женька пошла к «повторке» (кинотеатр повторного фильма), что так часто дарил ей шедевры Антониони, Феллини, Михалкова-Кончаловского и других режиссеров. Она сбежала с лекций, чтобы смотреть и слушать итальянское бельканто в фильме «Аида» с Софи Лорен, плакать над мелодрамой «Шербурские зонтики» или «Ночи Кабирии»... Фильм «Дворянское гнездо» она смотрела раз 10 — содрогаясь от красоты дворянской жизни — будто фантастический сюжет про другую планету, и ждала с нетерпением сцену, когда выйдут женщины-соперницы и запоют дуэт «Ивушка» — юная Купченко и известная Беата Тышкевич.

А герой из бывшей дворянской жизни лежит в траве, покусывая стебелек, над ним немислимо яркий солнечный день, долгий и одновременно короткий, будто сама жизнь...

Маршрут к «повторке» был любим еще и потому, что вспоминалось радостное безумие юности, бесконечные прогулки со своим будущим мужем-артистом и сиделки на лавочке, и поцелуи, что казались прелюдией к новой взрослой жизни, а рисовалась она идеально правильной...

Но юность была беспечна и глупа, и самой большой трагедией было несостоявшееся свидание. А между тем каждая новая встреча приближала к невеселой разгадке любви, к самостоятельности, что поначалу кажется камнем на шее, и только спустя много лет Женьке удалось упорядочить маленькие и большие проблемы жизни для того, чтобы осталось время для себя, для своего духовного роста и обновления.

И тогда, будто отдав молодость всю сразу без остатка, судьба возвращает тебе её по крупницам в маленьких открытиях и неожиданных радостях опыта.

* * *

Откуда эта покорность судьбе? Почему молодость так беспечна, почему так запросто отдает то, чему цены нет? Почему только Случай становится властелином целой жизни, и даже нет терпения дождаться своего Случая, не первого, не второго?

Наверно, потому, что любовь это вовсе не отношение к тебе любимого, нет, любовь — это прежде всего отношение тебя к себе самому, это признание твоей собственной ценности и оставление своих прав через другого. Попросту — это утверждение себя в другом!

Как легко было покориться чужому страданию, не думая о той кропотливой работе, что совершила Природа, создав её — женщину с разумом и душой, развив её способности так, что они могли стать началом грандиозной работы Духа.

Сколько веков прошло, прежде чем в цепи поколений появилось именно такое сочетание генов, а социальный мир изменился настолько, что позволил Женщине получать Знания из рук Его Величества Мужчины...

Но насмешница Природа щедро создает и легкомысленно разрушает...

* * *

Да, невесело было думать о том, что первый раунд с судьбой проигран — лучшие годы юности ушли на борьбу за освобождение от монстра-мужа — российская провинция производила в достатке энергичных и талантливых проходимцев, что рвались в столицу, полагая, что только здесь они могут показать миру свои невиданные таланты... Женька пожалела вечно голодного студента...

Однако можно ли упрекать их, если Москва семидесятых была действительно великолепна! Прогулка по центру могла вылечить от самых невеселых воспоминаний и порой дарила настоящее вдохновение — лучшие стихи она написала именно в толпе, на шумном перекрестке, задыхаясь от душевной боли и отчаяния.

Город действовал на подсознание, будто заводилась невидимая пружина восприятия. Дома, их фасады, портики, колонны — всё это богатство архитектуры, вернее, красота, открытая

глазу в повседневности, учила гармонии, создавала внутренний ритм.

Женька вышла с бульвара на улицу Горького и пошла к памятнику Юрия Долгорукого, как бы завершая круг почета. Темно-красное здание Моссовета с ажурными решетками — бастион власти и притон квартирной коррупции, куда ей ни разу не довелось проникнуть. Фасад «дворянский», а начинка «советская», и охрана, как в Кремле, — часовой с винтовкой. Как-то знакомый архитектор приглашал отобедать в ведомственном буфете, но у Женьки не оказалось паспорта.

Здание так и осталось совершенно чужим, непонятым местом, где кипела совсем другая жизнь, где, как в знаменитом «Казино», ставки были крупные, а жильё было бесплатным — удивительный парадокс социализма.

А всем известный взяточник — Гришин (последний главарь Моссовета до перестройки) — закончил свои дни в собесе, где униженно выпрашивал повышенную пенсию за свои аферы...

Подумав об этом, Женька ринулась под горку вниз, в толпу родного Столешникова переулка, сплошь забитого магазинами и лотками. Она шла всегда по самой середине проезжей части, и толпа обтекала её с обеих сторон. Здесь на подходе к дому происходили уличные знакомства, здесь когда-то пробиралась она, как опытный водитель, с коляской своего первого сына. И раздраженный провинциал-пешеход однажды спросил её, почему это она задерживает движение? Она остановилась и крикнула приезжему:

— Черт возьми, я здесь живу! Дайте, наконец, дорогу!

Её трясло от этой ослиной наглости — 2 миллиона проездом и пролетом в день — этот напряженный ритм московской жизни она выдерживала полжизни...

Наконец двор-колодец, что обдает тебя запахом только что испеченных пирожных. Слева был кондитерский магазин, где можно было съесть знаменитый «Наполеон» за 22 копейки (перестройка уничтожила островки сладко-дешевого порядка для простых смертных).

Во дворе на лавке возле пекарни отдыхали толстые бабы в огромных белых шароварах, будто натурщицы Лотрека, резко выписанные на фоне ярко-кирпичной стены. Они жадно и

бесцеремонно разглядывали Женьку, и под их взглядами её потертая замшевая куртка, купленная в комиссионке, превращалась чуть ли не в царскую мантию. Ведь они были привязаны к своему сиюминутному отдыху, а Женька была свободна.

И она ощутила остроту минутной передышки после сладкого пекла пекарни и от души пожалела женщин, что не представляли свою жизнь без изнурительного тяжкого труда у огромных железных печей и однообразных движений изо дня в день...

Она почти бегом дошла до закутка в правом углу двора. При разделе огромной коммунальной квартиры ей и её соседям досталась та половина, что была с «черного хода», телефон остался тоже у тех счастливиц, что входили в высокий светлый подъезд с витражами, поднимались по широкому лестницам, не боясь грохнуться в темноте. А Женьке каждый раз приходилось открывать незаметную боковую дверь и карабкаться по крутой лестнице со ступеньками разной высоты, и каждый раз заново привыкать к их неправильности. Чистой эта лестница никогда не бывала, очень уж тут всё располагало к небрежности, свет от лампочки был анахронизмом.

Теснота не позволяла остановиться и поговорить с проходящей мимо соседкой. Встречному человеку приходилось или протискиваться между стеной и тобой, либо ждать на маленькой площадке между лестницами, пока встречный гражданин или гражданка прошмыгнут в свою квартиру. Собственно, даже разглядеть друг друга не удавалось из-за тесноты и спешки.

Женька научилась входить в свой коммунальный раек бесшумно, чтобы никто из любопытных соседей не выскочил из комнат с ненужными вопросами. Как устала она от этого назойливого внимания: ухмылочек, плотоядного любопытства к твоей жизни.

Она крадучись пробирается по коридору, замком смазан машинным маслом, и на двери её комнаты картонный кружок на ниточке «НЕТ ДОМА» — как в хорошем отеле (Женька нарисовала его сама, а увидела нечто в таком духе в каком-то зарубежном фильме). Теперь остаётся тихо открыть крепкую деревянную дверь и почувствовать себя в безопасности.

* * *

Почти метровая стена позволяла сделать целый шаг, прежде чем ты попадал в Женькину комнату. Кто знает, какие сокровища скрывает старая кирпичная кладка, но главное, что дом стоит прочно и выдержит еще не одно поколение жильцов.

Женька, по московским меркам, была богатая особа — комната целых 20 метров в её полном распоряжении (соседей совсем немного — всего три семьи). Человеку, который входил сюда, сразу становилось ясно: здесь царили книги и рояль. Взяв под свои мощные лапы четвертую часть пространства, он оправдывал нагромождение старинных столов, шкафчиков и полок. Впрочем, присутствие вкуса «выстраивало» эту дореволюционную мебель в некую композицию, а картины друзей-художников на стенах и собственный автопортрет в небольших просветах между книжными полками делали жилище кабинетом надомника-мыслителя, как прозвал Женьку один знакомый поэт.

У окна, которое упиралось в стену напротив, без ног и подставок, вросли в пол две тумбы письменного стола из дуба, богато украшенные резьбой. Женька с трудом тащила его по частям с помойки своего двора — к счастью, в те времена еще не было моды на старину. Сверху был прилажен кусок, отпиленный от крышки предыдущего рояля «Шрёдер» — наследство бывшего мужа-артиста.

И хотя инструмент этот еще при жизни владельца издавал звуки весьма слабые, однако во времена одиноких вечеров (артиста никогда не было дома) Женька буквально спасалась от депрессии, играя романсы или что-то из классики. Кроме того, она привыкла именно к большому черному сооружению в своём доме, и никакое пианино не могло заменить основательную радость владения роялем.

Немалыми усилиями ей удалось скопить сумму, по современным понятиям ничтожную (3 года Женька берегла каждый рубль), а знакомый настройщик помог купить недорого представителя рояльной династии «Бекер».

Участь прежнего рояля была решена: попытки его продать убедительно доказали, что боль-

шинство нормальных людей предпочитают проигрыватели и магнитофоны.

Старый рояль «Шрёдер», не пригодный к музыке, чем-то напоминал бывшего мужа, не пригодного к семейной жизни. Избавление от рояля и от мужа было одинаково трагичным. Женька тщетно старалась оживить прямострунку и залатать трещины в деке, но, потеряв надежду даже подарить кому-либо музыкальный шедевр XVIII века, пришлось вынести его во двор.

Там простоял он у стены дома недели две беспризорным, пока не был замечен музыкальными старьевщиками и увезен, чтобы отдать свои молоточки и струны какому-нибудь более новому музыкальному собрату.

Избавление от мужа длилось более года — по доброй воле ему совсем не хотелось оставлять комнату в центре Москвы в удобной близости от театра. К тому же нищепанец-муж никак не мог понять, чего не хватает Женьке? Он жил своей нелегкой театральной жизнью, не посвящая молодую жену ни во что, не имел друзей, был всегда мрачен и однообразно груб. К Женьке он отнесился как к некоей живой вещи, которая готовила ему ужин и от которой он с отвращением отворачивался сразу после соития, которое по форме напоминало насилие.

После первого года замужества Женька родила сына, но так и не поняла, из-за чего это так много женщин и мужчин сходят с ума от любви? Единственное чувство, которое она вынесла из первого брака, — ненависть к конкретно взятому индивиду, который хотел использовать её в качестве бессловесной рабыни.

В отличие от рояля, «подобрали» мужа не старьевщики, а вполне реальная женщина-инженер, которая нашла в нём то, что Женьке найти так и не удалось.

* * *

Новый рояль излагал свои мысли вполне пристойным музыкальным языком, разве что требовал частой настройки, ибо не держал строй музыкальной души и звук «расплывался» под напором новой для него эпохи.

Женька закрывает плотнее обитую дерматином дверь, однако желание тишины иллюзорно

— кухонный мир врывается в её комнату воплями соседок, а громогласные монологи дяди Бори — это своего рода театр одного актера, причем не лишенного таланта. В Древней Греции он, наверно, смог бы стать знаменитым. Но, увы, при социализме возможности каждой личности менять профессию и плавно переходить от бухгалтера к философу почти нереальны.

Итак, Женька садится на трёхногую табуретку — столярный шедевр отца — наследство не слишком удобное, но доказательство многих способностей родителя-инженера — достояние или тяжелая каторга всеумения.

Наконец, тишина. Женька настраивается, целый день её преследовала одна мысль, нужно вспомнить. Что-то по поводу...

В дверь стучат: — Женька, ты дома? Помогите!

Моих соседок никаким кружком «нет дома» не отпугнёшь. Двигаться не хочется, но голос Марии Степановны энергично молящий. К тому же я догадываюсь, в чем дело.

— Что, опять? — выглядывает Женька за дверь в надежде, что ошиблась.

— Да, он там. Поможешь?

«Попробуй вам не помоги, вы и дверь выломаете», — думает Женька и выходит из комнаты.

Мы спускаемся вниз по лестнице и видим привычную картину: муженек Марии Степановны лежит на пороге, запрокинув голову. Шляпа валяется в стороне.

— Совсем немножко не дошел, — говорю я, будто ритуал доставки соседского мужа приятное для меня дело. — Я беру за плечи, а вы за ноги, — говорю деловым тоном, не терпящим возражений, хоть здесь у меня есть выбор.

Маленький, шупленький дядя Боря совершенно безучастен к нашим манипуляциям — он пьян до бесчувствия. Мне кажется, он нам доверяет своё уже немолодое тело.

В молодости он был, говорят, вполне культурным человеком, работал старшим экономистом на большом заводе, потом что-то случилось, и в разговоре появляется вскользь слово: «проворовался». Однако не настолько, чтобы попасть в тюрьму, его всего лишь перевели в кочегарку. Постепенно он опустился, перестал ходить в чистых рубашках, почему-то заговорил басом, мешая свою прежнюю речь с непристойной бранью, как бы попадал в водовороты непри-

вычных выражений, а потом взялся за унылое занятие одинокого выпивохи. С женой Марией они развелись давно, но жилищный кризис принуждает их жить в одной комнате.

Мария Степановна не догадывается, почему я помогаю ей в нелегком ремесле жены алкоголика. Мы с дядей Борей немного друзья. Никто об этом не знает. Он иногда заходит ко мне бочком, искоса поглядывая на дверь. Приносит книжки, что накануне выбрал на моей полке, и мы немного философствуем. Этот тихий пьяница в нашей коммунальной квартире относится ко мне с уважением. С тех пор как он услышал мой старенький рояль, его душа откликнулась на мою тихую игру, и всякий раз, встречая меня в коридоре, он почтительно кланяется.

В среднем подпитии, когда ноги еще держат его, дядя Боря похож на Демосфена. Прежде чем начать «выступление», он долго бродит по коридору, вдруг внезапно его «озаряет», он принимает позу оратора и начинает свой бесконечный монолог:

— О люди! Как вы ничтожны! И ты, Мария, родившая мне сына, погрязла в блуде, ты моё наказание, ты мой грех перед Богом! — вещает он хорошо поставленным голосом.

Кто и когда научил его так проникновенно произносить слова, остается загадкой, и о каком таком блуде Марии идет речь, тоже не ясно.

Бывают сцены, достойные Боккаччо: Мария Степановна моется в ванной, а её бывший муж крадучись подходит к двери и вдруг изо всех сил кричит:

— Мария! Ты еще не утонула?

Из ванной комнаты доносится возмущенный испуганный визг и брань. Задвижка щелкает, Мария выпрыгивает из ванны, бросается в открытую дверь грудастым голым телом и со всей силой, добытой цветущей зрелостью, толкает дядю Борю. Он летит, как футбольный мяч, прямо в мою дверь, благо она точно напротив ванной комнаты. Если я забыла запереть свою обитель (вот отчего я часто пользуюсь замком), то бедный «оратор» влетает ко мне и валится на спину посередине комнаты, как перевернутое насекомое лапками вверх.

Такой конфуз его смущает, он долго шаркает ножкой, прежде чем протиснется обратно в коридор. После инцидента с Марией дядя Боря на-

последок проклинает всех и вся, но, как бы извиняясь, особенно громко желает счастья «в будущей жизни просвещенной личности». Соседки не понимают, о ком это он, а я самонадеянно думаю, что это он говорит обо мне. Разгоряченный сыгранной сценой, бывший экономист гордо удаляется в свою проходную комнату.

Выступления дяди Бори особенно проникновенны в дни зарплаты, но их пыл постепенно угасает по мере истощения кошелька. В трезвом виде он скромен и даже угрюм, а главное, предельно тих, и его маленькие глазки смотрят в пол.

Но сейчас я держу дядю Борю за плечи, его голова бьётся где-то возле моего мускулистого бедра (я хорошо натренировалась в компании моих соседей), приходится напрягаться изо всех сил, и мы дружно преодолеваем двадцать ступенек. В дверях происходит заминка — дядя Боря бурчит и дрыгает ногами. Мария не без удовольствия бросает «свою половину», ноги грохаются, а я в неудобной позе пытаюсь удержать остальную часть тела. В конце концов, я приваливаю свою ношу к стене и делаю дыхательную гимнастику. Еще несколько метров, и мы заволакиваем «тело» в комнату и водружаем на узкую кровать.

«Ну, на сегодня, кажется, хватит, — думаю я и решительно направляюсь к себе, предварительно вымыв руки и брызнув в лицо холодной водой. — Да, неплохая тренировка для тяжеловоза». Решительно щелкаю замком, и вновь тишина.

Однако вернуться в прежнее состояние не удастся. Мысль безнадежно потеряна, забыта, растаяла от физического напряжения. Зато во всем теле приятная усталость. Женька пытается заниматься аутотренингом: садится на коврик у дивана и произносит про себя: «Жизнь прекрасна. Мне хорошо, я совершенно спокойна». Формула успокоения повторяется несколько раз, она делает пять ритмичных вдохов и выдохов. У неё кружится голова, и ей нестерпимо хочется спать...

* * *

Она шла по цветущему лугу. Лес то подступал со всех сторон таинственным мраком, то ласкал шорохом листьев и пением птиц. Она

вошла в березовую рощу, но лес быстро кончился и опять показалась большая светлая поляна, окруженная темнеющими деревьями. Можно было повернуть назад, но что-то манило и упрямо звало: «Иди!»

Переходить поляну было страшно, как будто кто-то ждал её там за опушкой, поглядывая исподволь из-за деревьев. И она решила обойти поляну лесом, неслышно ступая на мягкий мох, чувствуя, как ноги скользят и проваливаются. Она всё-таки шла вперед, подчиняясь упрямой дерзости, и вот, наконец, увидела продолжение лесной тропинки, но не кинулась к ней, а остановилась неподалёку, чтобы присмотреться, нет ли кого поблизости.

Яркий день сменился сумерками, они ступались очень быстро, и она уже была готова довериться этой темноте, пренебречь своим страхом и идти вперед, но вдруг совсем недалеко от неё что-то зашевелилось, и волна холодного ужаса окатила её с ног до головы. Так хотелось кричать и бежать сломя голову, забыв обо всём, но огромным усилием воли она сдержала себя и замерла, будто древний инстинкт самозащиты напомнил ей, как спастись от врага, если не можешь побороть его в открытом бою...

Всмотревшись во тьму, она увидела, что по краям тропинки стоят огромные исполины — не люди и не звери, а как бы вросшие в землю каменные изваяния. Сердце забилося так сильно, что она положила руку на грудь и стояла тихо, как бы сливаясь с деревом, к которому прижалась. Но «они» вдруг все разом зашевелились и медленно повернулись в том направлении, где стояла она, будто учуяли легкую добычу... Она метнулась к высокому дубу и стала карабкаться вверх, не помня себя.

Черные тени обступили дерево, стали раскачивать его, но вдруг она поняла, что становится маленькой, невесомой. Руки превратились в прозрачные крылышки, ноги срослись в подвижное брюшко стрекозы, и она легко вспорхнула с вершины дуба и полетела над лесом, неся маленькую голову с выпуклыми бусинками глаз.

Мир стал иным, он стал огромен, но страх прошел. Она опустилась на луг, села на высокую травинку и услышала голоса. Это цветы сплетничали о ветре, о грузном толстом жуке, что пыхтел рядом...

* * *

Просыпаясь, Женька подумала еще мыслями той потерянной в лесу девочки, что пережитый ужас обратился в свободу и прозрение... Она сидит несколько минут в темноте, потом зажигает лампу над трельяжем, смотрит на часы, оказывается, спала всего пятнадцать минут. Подвигает створки зеркала и находит положение — профиль. Странно, слева черты лица тоньше, правильнее, а справа грубее, незавершеннее. Нет симметрии в живом. Вдруг она оборачивается будто на живой пристальный взгляд, да это глаза Ван Гога, его автопортрет оживает у неё на стене. Но ведь это всего лишь литография!

Женьке становится страшно. Она подбегает к стене, снимает портрет великого нидерландца и прячет его под рояль. «Господи, да он просто потонул, как корабль, что слишком полон, и этот груз был для него невыносим, груз человеческих страданий...— делает для себя открытие Женька,— так что же — понять человека и через него открыть себя и выстроить невидимую лестницу своих успехов и поражений и победить свой первый страх оказаться хуже своих мечтаний о мире, о себе? Так вот отчего люди сходят с ума! Художники, музыканты, поэты.

Почему весь мир не молится Ван Гогу? Человечество признало ЕГО великим, и очередной миллионер вешает ЕГО картины в своей галерее — символ СТРАДАНИЯ. Знаменитые подсолнухи Ван Гога, которые может нарисовать любой мало-мальски талантливый художник, превращаются в символ ОТКРОВЕНИЯ...»

* * *

Какой первобытный страх смерти охватывает Женьку по ночам, а за ним приходит еще один страх — бессмысленность отведенного тебе времени и пространства. И вот надо «пройти» эти страхи, надо совершить путешествие «за тридевять земель», сразиться хотя бы во сне с «чудом-юдом заморским», и тут тебя одолеет самый последний страх, что не вынесешь на своих плечах эти тайны...

* * *

Женьке не хватает света в самом прямом смысле, темный колодец комнаты, чьи окна упираются в стену, давит на неё. Нужно уехать хоть ненадолго от одиноких мыслей, надо.

Завтра она пойдет в манеж и будет трястись на обыкновенной живой лошади, и можно, наконец, не думать о жизни, а просто жить, дышать, ходить! Делать самые простые и понятные ребенку движения... Да, да, да! А сейчас немного музыки, как пилюля перед сном.

Женька ставит пластинку, не выбирая, — ничего, кроме классики, народных русских песен и французских шансонье, у неё практически нет — где-то валяются всем известные шлягеры, пригодные для гостей. Но сейчас у неё в руках симфония Сезара Франка.

Могучая фантастическая мелодия рождается из «маленького ручейка», что с трудом пробивается в корнях гигантских деревьев и наконец вырывается из сумерек леса в широкое раздолье полей. Здесь гремят грозы, полыхают пожары, слышится рожок пастуха, растёт и крепнет Мелодия Жизни, как картина, на которой художник попытался изобразить не мгновения, а века...

Женька стряхивает оцепенение, выключает проигрыватель, и ей хочется живой музыки. Она долго настраивается, разыгрывается, разминает пальцы, встает и отодвигает одноногий табурет, который привезен еще из Ленинграда, где Женька начинала свои музыкальные упражнения, а семья переехала вслед за отцом, что проектировал подземные туннели метро.

Она начинает с прелюдии Баха, как бы заражая себя скрытой энергией механического движения, за которым угадывается страсть и желание освободить себя от однообразного повторения звуков и вырваться к Мелодии, от красоты которой сжимается сердце.

Женька нервно дернула страницу нот — пассаж никак не удаётся, пальцы, как паучьи ноги, передвигаются по клавишам, а звук получается трескучий, будто из земли вырывают сухую ломкую траву.

Проходит час, Женька терпеливо соотносит напряжение и силу прикосновения пальцев к клавише, слушает звук, который, как живое

существо, откликается то тихим стоном, то яростным криком. Постепенно ей удается вовлечь себя в азартную игру — будто все неровности заполнились, и Женька плывет от такта к такту, как опытный гребец в лодке, — она разобрала трудный кусок с бемолями из ноктюрна Шопена. Прошло еще немного времени, и тарабарщина пальцев сменяется ясным и чистым переливом форшлагов, что растянулись на целую строчку, и она почувствовала облегчение, как школьник, отсидев терпеливо урок, получает лакомый кусок торта и тянется к нему, предвкушая аромат крема...

— Как жаль, что никто не слышит, как я играю этот ноктюрн, — подумала Женька, неблагородно забыв о только что испытанном блаженстве... И она вновь «взобралась» на очередное крещендо, как будто поднялась по ровной и приятной дороге, что ведет к храму, чьи очертания уже надвигаются на тебя...

Женька закрыла ноты и попыталась вспомнить концерт Моцарта, что она играла когда-то со школьным оркестром, соревнуясь с Милочкой.

Перед выступлением она долго стояла на пороге кулис, оркестр настраивался, они были единой семьёй, от публики их охраняли пюпитры с ногами, а Женьке было страшно. Наконец её вытолкнули вперед, в то пространство, где каждое её движение будет оценено сотнями глаз. Она шла по сцене уверенно, чтобы никто не усомнился, что с ней всё в порядке, но, сев к роялю, она никак не могла найти педаль, как будто потеряла свой вес и улетела неизвестно куда. А потом, начав играть, боялась пропустить паузу, не торопить пассаж, иначе... Что могло случиться? Никто не собирался делать из неё пианистку, чего ей было бояться? Но тогда казалось, что происходит что-то очень важное, на грани жизни и смерти...

Совсем недавно, читая книгу одного знаменитого психолога, Женька узнала, что даже навык играть двумя руками, не подчиняясь параллельности действия, заложенной в нас природой, умение действовать как бы отдельно и согласованно, постепенно вырабатывает в человеке самый сложный механизм, тренирует некий психофизический ансамбль. И тогда твоё сознание становится как бы дирижером, у которого в подчинении столько инструмен-

тов: глаза, что смотрят в ноты; левая нога на педали «пиано»; правая нога — на «легато»; а руки выделывают немислимые вещи: правая — пассажи и арпеджио на 2–3 верхних октавах, а левая забирается в дебри басов аккордами и подголосками трагических и радостных созвучий правой...

Но блаженное состояние «властелина» приходило к «дирижеру» лишь после долгих упражнений и завоёвывалось многолетней борьбой с неуклюжей неповоротливостью пальцев и, конечно же, ленью, но изредка приводило, как ни странно, прикованного к «музыкальной галере» мальчика или девочку к истинной свободе своего Я.

Действительно, осознанное движение, движение, которое опередила твоя мысль, когда ты сумел мысленно представить себе себя и как бы вслед за учителем повторил урок, что задал себе сам. И одно и то же действие вдруг становилось притягательным только благодаря освещающей его мысли... Однако хватит заниматься самоанализом, — сказала себе Женька вслух и улеглась спать...

Утром она быстро складывает в сумку брюки, сапоги, кепку, сухари, чтобы подкормить лошадь. Хоть бы успеть, хоть бы достался сегодня приличный коняга, пусть хоть Состав, бывший орловский рысак, кастрированный, маленький и упрямый.

Женька забывает обо всём на свете и несется вверх по переулку к троллейбусу, что идет по улице Горького. Она замирает у окна в блаженном предвкушении приключения...

...Вот и калитка в глухом заборе, что выходит на широкий и шумный Ленинградский проспект. Только что здесь сновали люди, гудели машины, проползал троллейбус с вытянутыми руками стрелок, цепляющихся за провода, и вдруг открылась дверь и начался другой неожиданный мир.

Асфальт переходит в пыльную дорогу, по краям которой растет обыкновенная трава, нетронутая ничьим равнодушным вниманием. Причудливые репейники, лопухи и дикие цветы в беспорядочном движении к солнцу кажутся райским уголком, землей обетованной.

Женька чувствовала, что всё это богатство тривальных признаков нахлынуло на неё и сложи-

лось в картину, отличную от той, что представилась бы взору любого другого человека, прошедшего вместе с ней путь от калитки до манежа, туда, где ждали своего часа живые настоящие лошади. Здесь освобождалось её подсознание, будто воспоминания предков гнали её в природу, и она впадала в некое восторженное состояние. Как художник, смотрела она на эту непривычную «натуру», стараясь различить как можно больше оттенков, поражалась их несообразным единством, и картина, столь обычная для конюха, что с ленивым видом брался за обихаживание лошади, представала началом фантастического чуда вроде «сталкерской зоны» в черте города.

На самом деле конюх только притворялся ленивым, нет, он влюбленно смотрел на лошадь, и холил её, и вкладывал силу, и знал, что не пустая это работа, она проявит себя в резвом размеренном беге, в рёве толпы на трибуне, в напряженном жесте наездника, что будет ловко удерживать лошадь от излишней удалости на поворотах, и этот жест опытного лошадики Женька уловила и поняла всем существом. Она замороженно напряглась вместе с ним, будто сама поднимала руку и заводила скребок, прошедший по спине рысака. Она как бы преумножила в себе это движение, вобрав его красоту и смелость, и добрую покровительственную силу.

Узкие длинные лошадиные казармы и карусели для выгуливания рысаков наконец приводили к круглому тупичку, где одиноко или группами стояли «прокатчики» (так презрительно называли эту публику местные конюхи и наездники). Это была очередь, но вовсе не за колбасой или сапогами. Группа беспокойных людей обсуждала самые немислимые вопросы:

— Какое сегодня настроение у Грады (кличка лошади) и как вела себя в манеже гнедая кобыла акалхетинской породы, почему у неё такие удивительно тонкие ноги и чуть раскосые глаза, как у настоящей газели, и как её угораздило попасть «в прокат»?..

Все они нетерпеливо ждали момента, когда им разрешат поседлать лошадь. Веселыми стайками толпились дети. В лошадином царстве они чувствовали себя придворными чуть ли не самых высоких рангов. Они-то знали, чего хотят. Они пришли, чтобы покататься на обыкновенной живой лошади. Со взрослыми было слож-

нее, они как бы стеснялись своего увлечения, им нужно было найти себе какое-нибудь оправдание — что-то вроде лечебной гимнастики при радикулите или моциона для похудения. Любить просто так — приходиться и любоваться лошастью — было как-то странно и даже нескромно. Никто из них не захотел бы признаться, что его охватывает священный трепет при виде бегущей лошади, что его притягивает округлость лошадиного крупа. Недаром Платон назвал лошадь одним из символов Прекрасного...

Почему так хочется подражать этой свободной уверенной грации, что не в состоянии победить ни шенкеля ежедневно и унизительно меняющихся наездников, ни подпруги, что каждый новичок норовил затянуть по-своему, ни однообразное замкнутое пространство маленького круга с брезентовыми «нарукавниками» для выхода и входа?

Нет, ничто не могло разрушить волшебного очарования свободной и независимой красоты. Она жила, она была доступна, она была преступно дешева, но спасало то, что насладиться ею мог только смелый человек, пусть неуклюжий, но влюбленный в природу городской смельчак. При этом к мизерной плате (прокат лошади в час в те далекие годы стоил 1 руб.) в денежных знаках прибавлялось свободное проявление человека, поверившего в себя. Речь шла о некоей свободе, коей владеют не все дети, а только правильно воспитанные, и очень редко взрослые. При этом надо было соблюсти столько условий! Быть в меру здоровым и крепким; знать, что лошади существуют в городе, а не только в кино и в воспоминаниях какого-нибудь великого писателя. К тому же надо было преодолеть извечный сковывающий страх среднего горожанина.

Люди, что выбрали себе это странное занятие — ездить верхом, заметно отличались от людей, которые никогда об этом не помышляли; и даже если бы им нужно было преодолеть массу трудностей, дорога на другой конец города, борьба у кассы за билетик, наконец унизительные окрики тренера на манеже:

— Эй, вы там, на Таците! — Или: — Эй, вы там, на Граде!

Но даже если бы ничего этого не было, если бы вдруг кто-то «нежно приглашал» (что в то время даже представить себе было нельзя) взять под

узды ту или иную лошадь и садиться на неё по собственному усмотрению, то большинство городских людей с ужасом отмахнулось бы от такого нелепо смешного занятия.

Тренер стоял в центре круга с бичом или без него и отпускал команды скорее лошадям, чем наездникам, и позволял себе высокомерную грубость, ибо знал, что тот, кто пришел сюда, выдержит всё, готов к любому испытанию, лишь бы попасть в этот давно забытый мир, оторваться от канцелярской возни с бумагами и вспомнить запах навоза и ощутить ностальгический зов природы. Опыт бывшего спортсмена давал тренеру право откровенно презирать смешных нескладных дилетантов, которые, сев на лошадь, совершенно терялись и тут же забывали, где у них правая, а где левая нога. Они никак не могли выпрямить спину или правильно подтянуть стремя. Эти смешные люди, доверившись ему и даже рискуя жизнью (ведь лошадь могла при малейшей ошибке наездника серьезно покалечить), жадно слушали каждое слово команды и пытались изо всех сил обрести равновесие и почувствовать наконец тяжесть своего тела.

Лошадь делала новичков почему-то совершенно невесомыми, и большие дяди и тети смешно подпрыгивали, клонились то в одну сторону, то в другую, хватались за гриву, и казалось, что бегущая по кругу лошадь, не прилагающая никаких усилий к своему движению, гораздо более осмысленное существо, чем двуногая марионетка, подпрыгивающая на ней.

Женька знает, почему её как магнитом тянет в манеж, почему так сладко замирает сердце, когда она входит в денник. Надо забыть про страх и сделать большой смелый шаг вперед, встать под шеей лошади, обхватить её руками и, ласково уговаривая, пробраться к шершавым губам и вставить трензель между зубами — все эти мелкие движения требуют ловкости, сноровки и силы.

Теперь это большое животное в твоей власти, ибо повод при натяжении причиняет ей боль и лошадь становится послушна. Сердце у Женьки уже не колотится так сильно, а еще нужно принести и положить седло на крутую лошадиную спину, предварительно расправив подседельник и застегнуть подпруги, которые должны ровно лечь под брюхом лошади.

Женька старается изо всех сил тянуть подпругу на себя, но с трудом дотягивает до самой первой дырки в ремне — лошадь раздувает брюхо и становится необъятной. «Ничего, подтяну потом, на манеже», — думает она.

Взяв повод, Женька выводит лошадь в длинный коридор конюшни, и вот наконец манеж. Они, лошадь и Женька, ступают по опилкам, сожалея о том, что под ногами нет одуванчиков и травы, но Женьке всё равно кажется, что она древний охотник и пробирается в лесной чаще...

Однако одного воображения мало, чтобы сесть в седло, а если не пользоваться лесенкой для новичков, то и совсем дело плохо. А ведь Женька считает себя спортивной. Куда там! Нога никак не поднимается на нужную высоту.

— Хоть бы никто не увидел, как она карабкается на лошадиную спину, будто это не лошадь, а настоящий слон, — думает Женька и продолжает неуклюже цепляться носком левой ноги за стремя, а правая предательски медлит и медлит — приходится ухватиться за гриву, и она с трудом забирается в седло...

— Уф, ну и позор, — говорит Женька и оглядывается по сторонам.

Однако, кроме лошади, смеяться над ней никому. Она облегченно вздыхает.

— Ну вот, теперь отдышись и выпрями спину, — отдает она себе команду и расправляет плечи. — Теперь прижми колени к бокам лошади, чтобы стремя не болтались под ногами, а стали надежной опорой: носки кверху — пятки вниз...

Она долго принаравливается к движениям лошади и наконец находит единственно верную позицию, чтобы чувствовать себя уверенно в седле. И всё же ей всё время приходится удерживать себя «в собранном виде», как бы сосредоточиться на каждом мускуле, что отвык напрягаться, ведь лошадь — это не троллейбус и даже не метро, где можно быть пассивным, расслабленным, ленивым...

Лошадь безучастна к маленьким победам Женьки над своим телом, она хочет поскорее вернуться в денник и жевать траву, совершенно не понимая, что движение ей нужно так же, как и Женьке, чтобы продлить своё физическое существование на земле.

Но вот на манеже собралась вся группа наездников, выходит тренер и командует: — Рысь!

От плавного покачивания крупом при шаге лошадь переходит к мелкому подбрасыванию всадника, и тогда ты вновь убеждаешься в том, что совсем не владеешь своими руками и ногами! О голове сейчас нет и речи! Вот почему Женька не может бросить это нелепое занятие — ездить на лошади! С каждым новым уроком в ней усиливается упрямое желание победить свою неуклюжесть, и она преодолевает нудную, однообразную суету движений без радости, без сердечного пыла, без восторга — я есть!

Её природное естество борется с привычкой горожанина пребывать полжизни в нудной неподвижности, и постепенно ей удается пропустить каждое своё движение через сознание, и мысль, запечатлев маленькие победы: правильный поворот корпуса, ощущение мышц бёдер и голеней, даже пятки послушно напряжены и прижаты к бокам лошади, и вот-вот наступит момент гармонии, когда тело не унижает мысли, а, управляемое ею, становится хотя бы на один миг совершенным. Наконец испытание лошадью заканчивается, и Женька вновь «спускается на землю».

* * *

— А не пойти ли сегодня в редакцию к всезнающей Асе? — думает Женя, сидя в троллейбусе № 12, который направляется к центру. — Показать новые стихи, да и рецензию пора сдавать.

У Белорусского вокзала в вагон врывается толпа дачников с рюкзаками и сумками, и Женька тут же уступила своё место пожилой даме в шляпе. В переполненном вагоне, обжатая со всех сторон (как селёдка в бочке), она чувствует себя почти уютно и продолжает мечтать: завтра ей предстоит ещё одна встреча — вечером, на философском, она увидит «Его». Вот откроется дверь, он входит размашистым шагом, чуть подавшись вперед: в одной руке папка, а другая свободно болтается, как у расшалившегося мальчишки. Насмешливо посмотрит вверх на галерку аудитории №1, подойдет к столу и швырнёт конспекты лекций. Она до сих пор не прочитала Его диссертацию о Владимире Соловьеве — просто позор! А потом начнётся лекция, и это будет чудо, когда в

словесном портрете оживёт человек, его мысли, когда силой воображения можно вернуться в другое время и понять, увидеть, почувствовать другую эпоху...

Женька была счастлива на лекциях по истории русской философии, и как ни тяжела была её жизнь матери-одиночки, которая умудрялась жить порой на 1 руб. в день, просчитывая свои дела по минутам, в аудитории она воспаряла... Спустя много лет она поняла, что приняла эстафету из рук Мастера. Он завещал ей 3-й научный зал Библиотеки имени вождя, и она провела там лучшие годы своей жизни, забыв о мелких страстях своих ровесниц, что преследовали «меркантильно-правильные» цели.

Они как бы обменялись талантами: Женька привела Его к своим любимым лошадям и научила играть Моцарта (частные уроки музыки для учителя философии), а он приносил ей книги и изредка Себя. Но всё это случится потом, а сейчас она еще не знакома со своим интеллектуальным кумиром и лишь мечтает о встрече с ним...

И что это за мука сваливается на голову и не разбирает, не спрашивает: можно или нельзя любить? А просто сталкивает с крутого обрыва в реку: плыви, барахтайся или тони...

* * *

Женька вышла на Пушкинской площади и пошла в редакцию на Цветном бульваре. Хотелось рассказать Асе, заведомо культуры, что-то ужасно личное, наизнанку вывернуться под её острый насмешливый взгляд.

— А, молодое дарование, проходи, — небрежно, но ласково встретила Ася. — Ну что, опять трагедия?

— Ну что мне делать, Ася? — воскликнула Женька, как бы прокручивая перед собой, как ленту в кино, свою тайную любовь.

— Ничего! Замуж надо выходить — вот и всё, — бросила Ася, глядя в гранки и попыхая сигаретой.

— Он женат. У него жена — красавица. Я для него — никто, — будто оправдывалась Женька. — Ну почему я такая несчастная? — запричитала она и отвернулась к окну.

— Это ты несчастная? Ну, детка, ты совсем обнаглела! Посмотри на себя, — да тебя узнать нельзя. Какая ты ко мне прибежала год назад, помнишь? Вот то-то. Вот тогда ты была потерянная, а теперь... Ты всего-навсего влюблена! Волнуешься, страдаешь — а значит, живешь! Про своего бывшего мужа забыла? Совсем забыла?

— Да, забыла, — ответила Женька машинально, в который раз удивляясь магической силе Асиных рассуждений. Почему для неё всё так просто?

И она вспомнила, что с ней было год назад: ходила, опустив глаза, ей казалось, что всё в ней уродливо сдвинуто, перепутано и может вызвать отвращение в каждом, кто увидит её и заговорит с ней. Но потом она поняла, что это был скрытый хаос в душе и страшная мысль, неужели можно жить, узнав всё это? Ей хотелось спрятать себя до тех пор, пока всё уродливое не разгладится, не восстанет молодым сопротивлением против ужасной мешанины чувств. Долгие дни она объясняла себе каждый свой шаг, проигрывала день за днем долгую трёхлетнюю замужнюю жизнь...

Прошло много вечеров, прежде чем она почувствовала, что внутри что-то выпрямилось и оболочка, что держалась на энтузиазме молодости, обрела форму, как бы наполнилась... И, наконец, отпала нужда в бесконечных вопросах и ответах: почему случилось это, а почему случилось то. Кусок жизни был не только прожит, но и осмыслен. Женька хорошо помнила день, когда она впервые улыбнулась гомону воробьев, улыбнулась и заплакала от счастья, как человек после долгой болезни...

— А год назад ты могла себе представить, что будешь сходить с ума от любви? — настойчиво вопрошала Ася, — да ты пряталась от людей, улыбнуться не могла. Что с тобой было, помнишь? — Ася будто читает мысли Женьки. — Я думала, что ты вот-вот в психбольницу загремишь, а теперь! Румяная, стройная — глаз не оторвать!

Ася размахивает руками и громыхает стулом под толстым неуклюжим телом.

— Ну и дура же я, — сказала себе Женька и поцеловала Асю в пухлую надушенную щеку.

— Вот это правильно, с этим я согласна. Показывай, с чем пришла!

— Рецензия и стихи, — сказала Женька тихо, будто признавалась в страшном грехе.

— Рецензию давай, а стихи выкинь, некогда мне твои вирши читать.

— Но посмотреть-то можно? — взмолилась Женька.

— Ерунда всё это. Поэтов до тебя было столько! — убеждала Ася.

Женька вся сжалась, но упрямо твердила:

— Нет уж, Асенька, почитайте, может, душой посветлеете.

— Ах ты, нахалка! Что ты из себя вообразила?! Сейчас две строчки из середины возьму, и если не понравится, сразу в корзину!

Ася схватила листки, скрепка отлетела, она ловко удержала их на лету, прочитала:

Я, будто «темная» лошадка,

Бегу по кругу.

Никто не ставит — нет повадки,

Но первой буду...

— Во-во, манежная тема, с хлыстом, я вижу, не расстанешься. Ну ладно, оставляй, кому надо, покажу. Слово у тебя живое, такое же быстрое, как ты сама...

Женька благодарно улыбнулась проницательной Асе, которая восседала за своим столом, увешанная необыкновенными серебряными украшениями, излучая энергию всезнающей прорицательницы...

— Ну ладно, топай. Я сегодня «свежая голова», сама знаешь, сколько читать...

— Убегаю, Ася. После отпуска позвоню, ладно?

— Угу, — буркнула Ася и выставила Женьку, шумно закрыв за ней дверь.

Женька вприпрыжку побежала вниз, чуть не наскочив на главного редактора.

Всё, что она делала потом, было вприпрыжку: собирала рюкзак, гладила платье, чтобы пойти на «прощальную» лекцию, бегала в магазин, ласково играла с сыном.

— Ну, пообедай хоть, — суетилась мать, накрывая на стол. Есть Женьке не хотелось, но, чтобы не обижать, она села за стол. Посмотрела вокруг и подумала, какие они разные — отец и мама. В кабинете отца порядок был особый, совсем не такой, как в столовой и спальне. Стеллажи с книгами, письменный стол и чертежная доска, хитроумно привинченная к стене, и всё-таки чего-то не хватало. В комнатах,

где царил мать, был женский теплый мир рюшечек, покрывал, занавесок... И Женька подумала, что талант — это бесполой дар и сваливается человеку как снег на голову, не думая, не рассуждая, готов ли он к нему.

Наблюдая за мамой, Женька видела, что талант всю жизнь мучил её. Это была неуёмная жажда преобразовывать всё, что попадалось под руку, заставляло её в каждом повседневном деле с титаническим упорством устроить всё по-своему. И, прежде всего, это была способность чувствовать красоту, пусть в малом и смешном, пусть зарываясь в сугубо женские дела и делишки, но это было настоящее художественное чутьё.

Если мама принимала гостей, то стол был накрыт так красиво, что все диву давались: закуски и салаты украшались едва заметным штрихом, и застолье приобретало новый эстетический смысл. Мать умела создавать красоту практически из ничего: из старых тряпок, допотопной мебели, из воздуха. Вокруг неё всегда была атмосфера радостного оживления, и она не унывала практически никогда — это был великий талант чувствовать себя счастливой, несмотря ни на что, — великий талант оптимиста.

С каким восхищением и завистью смотрели на неё женщины, как выделялась её элегантно стройная фигура рядом с кургузыми недотепами (так называла Женька её подруг-ровесниц). Какой заразительный огонь сиял в её глазах! Жаль, что все эти таланты служили только для домашнего пользования. «Символические флажки» так и не пустили её за пределы этой маленькой страны, не разбудили жажду творить в мире не ради себя, а ради некой мировой идеи Космической Гармонии...

— Женя! Ну о чём ты всё время думаешь? Уставишься в одну точку и молчишь! — выговаривала мать с досадой.

— Мам, я о тебе думаю. Вот почему ты не стала художницей? Почему?

— Слишком твоего отца любила. Куда он едет, туда и я. Его на Дальний Восток послали на два года, я институт и бросила, а потом работа...

— Жаль, что не было у тебя настоящей цели в жизни, честолюбия, что ли, могла бы стать известной на весь мир художницей...

— Вся моя цель в жизни — это ты. Как тебя родила, так ни о чём больше думать не могла — ведь

ты без конца болела. Твой сын всё время со мной. У тебя то работа, то учёба, а ребенок — это вся жизнь, если его, конечно, любить...

Женя замолкает. Она не понимает, как ребёнок может быть целью всей жизни.

— Выходила бы замуж за Игоря, а то упустишь парня, — не успокаивается мать. — Да и то, что он в тебе нашел? Молодой, неженатый...

У Женьки даже глаза заболели, вот так о ней говорит родная мать, будто, родив ребенка, она стала инвалидом. Скорей бы пришел отец, вот попрошаюсь и уйду, — думает Женька и в который раз задает себе вопрос, где и когда переступила она символическую черту, и её перестало волновать то, что волнует мать, и вдруг становится невыносимо поддерживать разговор, в котором упрямое нагромождение лиц, событий, их поверхностная канва. Когда разучились они понимать друг друга?

Наконец входит отец, под мышкой пачка журналов, он улыбается:

— Ну вот, опять макулатуру принёс, так никаких денег не хватит, — бросает через плечо мать.

— Ладно, Кося, не ворчи, — отмахивается отец, и они с Женькой, как заговорщики, прячутся в папин кабинет.

— Вот интересная статья, — говорит отец и протягивает Женьке журнал «Знание — сила», — возьми, почитаешь в дороге.

— Спасибо, папа, — говорит Женька и целует отца. — Я побегу, мне ещё на лекцию успеть надо. Пока!

— Погоди, я сейчас прочту кусочек из «Техники — молодежи» — новая гипотеза возникновения жизни... Очень интересно!

Отец выходит в столовую, ему нужен «массовый» зритель. Женька присаживается на краешек стула, мать замирает с полотенцем в руке, а отец произносит слова: «бесконечность, кривизна пространства, текучесть времени...» Как ему удается сохранять детскую любознательность и вечную жажду узнать что-то новое о далеких мирах, о человеке или о природе?

Женька слушает отца и вспоминает, каким он был веселым и энергичным совсем недавно, а теперь она часто видит его согнутую спину за письменным столом в кабинете: он что-то мас-терит или чинит, но ему грустно и одиноко.

Как страшно проглядеть в близком человеке

эгоизм маленького хищника, который исподволь подтачивает запасы материальные и духовные: постепенно, изо дня в день, упреками и жалобами, жгучим недовольством, мать перекроила и переиначила всё доброе и светлое, что было в отце, и сделала его беспомощной куклой, подчинив каждое его движение себе и для себя. Всё лучшее задавлено безапелляционным заявлением:

— Ты не умеешь жить! — а это значит, что мелкий меркантилизм победил...

Как много дурного может сделать женщина и как опасно оставлять её на том уровне получеловеческого развития, в котором пребывает огромное их большинство. И не мудрено, воспитывая с детства не «человека», а «девочку», всячески отвлекая от серьёзных больших проблем, запирая в символическую сферу кастрюлек и матрёшек, вырастает в женщине рабское пристрастие к вкусенько-поверхностной жизни. Образование не спасает, оно порой лишь развращает, дает путь к деятельности, но не побуждает к познанию, к бескорыстному поиску истины.

Да откуда взяться чему-то другому? Это и есть наказание мужчине за пренебрежение к её человеческому достоинству, за вечное заточение жены в четырёх стенах, за многовековое возвеличивание тела и полное пренебрежение интеллектом женщины. И многие полуцивилизованные современницы научились властвовать над мужем, другом или случайным знакомым, но, увы, не разумом, а жадно расставляя ловушки на самые прекрасные качества мужской природы: щедрость и бескорыстие, благородство и жажду познания. Как хитро оплетают они мужчину своими капризами, вечным вымогательством, половинчатыми решениями, недовольством, упреками. Как много можно было бы рассказать о скрытых ухищрениях пола, как далеко завело бы нас это повествование... Увы, пример этот был у Женьки перед глазами...

И случилось так, что все эти сложнейшие взаимоотношения как бы «свалились» на плечи Женьки и заставили её разобраться в фантастической обыденщине, которая зачастую приводит к деятельности без результата, вернее, замыкает долгую жизнь двух людей на их детях.

И Женька, будто умелая портниха, получив в

приданое сундук нелепых нарядов, шьёт себе одно, выбирая, раскраивая их сообразно своему вкусу, но только по себе, и приведет в восторг любую незадачливую женщину, которая предпочла бы выкинуть весь этот хлам, не подозревая о его ценности...

* * *

Сколько же тебе дано, женщина?! Звонкий смех разносится среди цветущего луга, яркий румянец проступает на щеках. Смейся, смейся, ликующая девочка! Мало солнечных дней подарит тебе жизнь, а может, много? Может быть, поймашь заветное словечко, может быть, проберешься в дырке забора на простор, на окраину. Может, оттуда?

Где ты, милый щеглёнок голосистый? Как постарело твоё лицо, как запали твои глаза. Что? Не пустили? Не показали? Да и сама не побежала, будто испугалась — забарахталась неподалёку и отпрянула от чудовищной глубины. Да так и осталась стоять неподвижно, смотря в одну точку замороженно, уныло, будто ничего и нет на белом свете, кроме твоей женской судьбы...

* * *

— Вот уж нет, — думает Женька и выбегает на улицу, — меня женскими штучками не соблазнишь: модной тряпкой да вкусной конфеткой, знаем мы эту мякину — попробовали... Скука смертная — игры для дур неполноценных... Я вот сейчас пойду на лекцию и увижу Его, — радовалась Женька. — Буду смотреть на Него и слушать каждое Его слово, ловить каждый жест, а потом буду плакать, забившись в угол.

После лекции Ветринского обступали веселые, наглые студентки, заглядывали в глаза, задавали дурацкие вопросы, но Женька не могла себе представить, что когда-нибудь подойдет к нему, заговорит. И эта мука невысказанной любви длилась уже год, день за днём.

Она жила машинально, не понимая, что делает, что говорит... Сын напоминал о позоре и унижении, его кудрявая головка, его ручки тянулись в пустоту Женькиных глаз. Что делать? Как жить?

А по улице ходила румяная девочка, да кто бы подумал про неё — мамаша с напуганной душой... И вот она вновь обрела могущество юности, и ей всё нипочем, она уже пережила страшные минуты, будто это плата за будущее счастье, и, обозначив причиной всему, что с ней произошло, собственную глупость, Женька начинала новую жизнь...

...Она опаздывала. Она слишком долго возилась с платьем, пытаясь придать ему давно потерянную форму. На факультет прибежала вспотевшая, раскрасневшаяся, ворвалась в аудиторию и чуть не столкнулась с Ветринским и бросила на него такой озорной взгляд, что он первый опустил глаза, а его пальцы нервно забарабанили по столу. Он подождал, когда Женька усядется, — она была последней из вошедших, и начал лекцию, как всегда неторопливо, потом увлекался всё больше и больше, будто вспоминал, видел перед собой людей, о которых говорил, чувствовал и знал их мысли, как свои...

* * *

Воображение было разбужено, а с него начинается всякая работа духа, без него всё богатство информации о мире — груда сведений без порядка и гармонии и напоминает свалку знаний. У многих людей этот запас к середине жизни превращается чуть ли не в гору, но хаос, что царит там, делает бесполезными все эти богатства, они не только не выигрывают от соприкосновения друг с другом, а, напротив, уничтожают то, что еще вчера могло стать озарением на всю жизнь, а обратилось в дешевый цинизм всезнающего обывателя.

Воображение, как воздух или пространство связи, не дает залежаться богатствам знаний и делает их свободными и подвижными, когда они, будто ожившие атомы, слетаются в гармоничные ряды молекул, наделенные сверхъестественной силой, и строят макросооружения Мысли, в которых ничто не застывает, а вечно пребывает в движении, в росте, в обновлении.

И одно доброе зерно вопроса и ответа вырастает колосом системы представлений, чарующих картин познания мира...

* * *

Женька слушала так, будто погружалась в полет Его мысли, ничего не записывала, а смотрела на Ветринского в упор и даже несколько раз поймала его взгляд, но не опускала глаз, как прежде. После лекции она ни на минуту не задерживалась, а мчалась домой. Её любовь повернулась к ней другой стороной, будто Женька разорвала сковывающие её путы и выпустила свой страх на волю. И теперь видела, как летит вольная озорная птица.

— Да, пусть летит, пусть улетает прочь, — думала она. — Мне ничего не надо, мне хорошо только потому, что я могу любить, — успокаивала себя Женька. И вдруг, по мановению чьей-то воли, открылась автоматическая дверь метро и в вагон вошёл Ветринский. Он сел напротив и, узнав «свою» студентку, улыбнулся. Горячая волна хлынула к голове, потом к ногам. Женька не могла отвести взгляд, ей казалось, что она сидит совершенно голая и все вокруг рассматривают её с плотоядным любопытством.

Ветринский легко встал, сделал два шага навстречу Женьке и сел рядом.

— Почему вы не записываете мои лекции? Они вам не нравятся? — сказал он насмешливо, и это означало: — Знаю, знаю свою власть, вижу, что влюблена, что захочу, то и сделаю с тобой.

Женька заговорила — такое бывает, как вдохновение, как прыжок с невысказанной высоты.

— Ваши лекции пробуждают воображение, поэтому они так захватывают, — Женька говорила искренне, но, начав с комплимента, попала в точку.

Ветринский был удивлён. «Да она умна», — подумал он и пристальнее вглядывался в неё, читая её смятение и восторг.

— Свои лучшие лекции я читаю в Строгановке. Хотите послушать? — сказал он, будто актер, приглашающий в театр.

— Очень, — Женька задохнулась от счастья, кивнула и невольно придвинулась к Ветринскому.

— Тогда я поеду вас провожать. Мне нравятся девушки, которым нравятся мои лекции, — сказал он, радуясь невольной шутке.

Женька ужаснулась: с какой легкостью он ска-

зал эту фразу, будто каждый день провожает очередную поклонницу.

— Давно наблюдаю за вами, вы очень странная студентка, — Ветринский уже не смеялся, он смотрел на Женю сбоку и как бы спрашивал себя, достойна ли она его внимания?

— А я сегодня поздно вечером уезжаю, хотите вместе поужинаем? — сказала Женька и испугалась, но тут же прибавила: — Я живу в центре. Поиграю вам Моцарта, и это будет прощание в сентябре, — сказала Женя, удивляясь своей смелости.

— Пожалуй, прощаться лучше после экзаменов, весной, — сказал Ветринский, — но ужин и Моцарт — сочетание в наше время редкое — трудно отказаться. — Похоже, что на ужин его приглашали каждый вечер...

Женька заволновалась: никакого ужина у неё дома нет — только салат, оливки и сыр. Единственное, чем она может «угостить» Ветринского, это волшебное анданте из 12-й сонаты Моцарта. Но потом, что будет потом? — лихорадочно думала Женька. Она улыбнулась Ветринскому так, что у неё на глаза навернулись слезы, слезы удивления и счастья. Ветринский не смог усидеть под её взглядом и почему-то вскочил и смотрел на Женьку сверху вниз. Ресницы её дрожали. Он потянул её к себе, она встала навстречу его взгляду, будто загипнотизированная им, и сказала шепотом: — Я люблю вас давно, знайте!

Ветринский вздрогнул и с трудом удержался, чтобы не выскочить из вагона метро, подумал:

«Сумасшедшая девочка, но очень мила, а вдруг она невинна?»

Он опять изучал её лицо, которое было так близко, — они стояли рядом, он нежно взял её руку, она была холодная и влажная.

— Вы молоды, вы впечатлительны, вам бы в актрисы с такой-то душой.

— Оставим мою душу, — сказала Женя уже спокойно и, осмелев окончательно, произнесла шёпотом, глядя ему в глаза:

— Мы встретились — это судьба. Не волнуйтесь, я была замужем, у меня есть сын, — успокаивала она себя, а заодно и Ветринского.

«Она читает мои мысли... Я её не соблазнял, она сама...» — подумал Ветринский и взял её под руку.

Женьку понесло: — Эпиграмма Пушкина обо мне:

*Нет ни в чем вам благодати;
С счастьем у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад.*

— прошептала Женька на ухо Ветринскому и засмеялась раскованно и легко.

«А, будь что будет, — подумала она, — ну не съест же он меня в конце концов!» А Ветринский подумал: «Слава богу, никакого растления малолетних, а девочка не простая!»

Он только сегодня утром расстался с очередной подружкой, которая и Пушкина-то никогда не читала, а тут еще и Моцарт...

Женьке стало легко, она будто перешагнула за флажки, что вечно держали её в зоне дозволенного, и, как волчица, впервые ушла от ненавистного «запаха человека», переступила невидимую преграду, и теперь её ждет свобода без ханжеских запретов.

Она прижалась к Ветринскому, будто всю жизнь так с ним ходила, и стала читать стихи: сначала Пушкина — «Когда любовью и негой упоенный, безмолвно, пред тобой колени преклоненный...», потом Гумилева — «Ты знаешь, сегодня особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв, ты знаешь, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф...»

Они не заметили, как дошли до её переулка, как поднялись по крутой лестнице с разными ступеньками, как вошли в полумрак Женькиной комнаты и замерли, как замирает оркестр перед вступлением... Женька села к роялю и вдохновенно сыграла любимое анданте, будто выполняла ритуал соблазнения. Ветринский смотрел на неё как на диковинное растение, и под этим взглядом Женька сбилась, смешалась, перестала играть и подняла голову. Они долго молча смотрели друг на друга и наконец протянули руки для объятий...

* * *

Женька вышла на пристани в Осташкове. День был пасмурный. Дул сильный ветер, гнал серые стаи волн, и всё кругом было тускло и уныло. Казалось, вот-вот заморосит дождь. Женька вошла в просторный плавающий дом речного вокзала. Стены были обшиты деревянной рейкой, лавочки стояли по стенам уютно, а не казенно, и всё это деревянное убранство излучало тепло и запах леса и чего-то еще, что невозможно почувствовать в современных домах из стекла и бетона. Она обошла строение по всему периметру и вернулась в маленький зал. На стене висела карта озера Селигер. Если не заметить многочисленные кружочки с названиями поселков и станций, то озеро напоминало по форме огромную каплю ртути, молекулярные силы которой стремятся в центр круга, но что-то растягивает эту каплю в разные стороны и образует длинные пальцы заливов. Крохотный пароходик со стрелкой, что нарисовал местный художник, приглашал к путешествию — покупай билет, занимай место на палубе и обязательно доберешься до самого лучшего уголка с замысловатым названием.

Женька выбрала кружок под названием «Залучье», оно обещало тишину, поблизости не было видно ни одной турбазы (забытый вид отдыха при социализме для нищих граждан). Она посмотрела расписание, ждать парохода оставалось около часа, и пошла в кассу, у которой не было привычной очереди; купила билет и проделала всё это серьезно и сосредоточенно, не обращая ни на кого внимания.

А между тем каждое движение давалось Женьке с трудом, она как бы всё время подталкивала себя, заставляя делать то, что ей, в сущности, не хотелось. Эта поездка в новых для неё обстоятельствах была уже не удовольствием, а бегством.

К чему приведут эти непонятные отношения с Ветринским? Через три года брака она впервые подумала, что быть женщиной вовсе не унижительно! Он восхищался каждым её словом, жестом и почему-то смеялся, как ребенок! Может быть, от счастья?

Она даже не подозревала, что покорить мужчину так легко. Но к чему приведет эта новая

любовь, столь упоительная, но абсолютно безнадёжная, лишённая будущего?

Женя даже не подозревала о своей могучей силе сопротивления судьбе. Как она умудряется из пяти шансов выбрать самый неудачный? Как будто она сама всё время толкает себя к провалу.

Ей так хотелось почувствовать себя самостоятельной: без унижительных назиданий матери и ненавистной опеки бывшего мужа. Он ревновал её даже к бездушной пластинке: однажды застал «на месте преступления» — она слушала Азнавура, знаменитую «Изабель», — великий шансонье слишком страстно произносил имя любимой, эти крики напоминали стоны во время любовного акта. Муж ворвался в комнату, схватил пластинку и швырнул в угол — его жена не должна была это слушать!

В 22 года она несла на своих плечах огромную тяжесть воспоминаний и, как могла, пыталась сбросить с себя этот груз...

— Как хорошо быть одной, — успокаивала себя Женька, — идешь себе куда захочешь, без подсказок, без поучений. Всё от тебя зависит: и хорошее, и дурное, и еще надо всё время самому с собой разговаривать, думать про себя, как бы спрашивать невидимого оппонента — правильно я поступаю или нет? Это и есть собственное сознание, и оно защищает каждого человека от бессмысленной суеты, от случайных поступков. Вот и получается, что главное — уметь думать о себе так, будто ты не один, а вас двое, и тогда можно спокойно обсуждать все свои дела, вспоминать что-нибудь и в то же время идти, ехать, двигаться в пространстве внешнем и жить своей одинокой мыслью внутри себя за оболочкой себя-бытия.

А ведь не просто было Женьке этому научиться, нужна была школа одиночества, как сурдокамера для космонавтов. Этот эксперимент поставила с Женькой жизнь — после развода она осталась в своей комнате одна с маленьким сыном, без телефона, без друзей...

Женька отвлеклась от своих мыслей, посмотрела по сторонам: вокруг суетились стайки туристов, одетые в штормовки, поднаторевшие в походах и путешествиях, веселые и нахальные. «Почему я не с ними? — подумала Женька тоскливо, её будто током кольнуло от их беззаботности, но она тут же спохватилась

и уговаривала себя: — Ты сама хотела одиночества, вот и наслаждайся».

Она вышла на деревянный причал, струганные доски мягко пружинили под ногами. Городское дитя — Женька всю свою сознательную жизнь ходила по асфальту, и чувствовать под ногами деревянные доски и ощущать запах леса было наслаждением. Однако пространство причала было ограничено и не оставалось ничего другого, как сесть на громоздкую лавку светло-голубого цвета.

И всё-таки её мучил вопрос: что же произошло вчера? По всем прежним канонам морали это было «падение»? Она призналась в любви человеку, о котором мечтала, к которому стремилась, не понимая, к чему это приведет, и провела с ним упоительную ночь. Он стоял на коленях перед ней, целовал ей руки — ничего подобного не было в её жизни. Мужчина, проведя ночь с женщиной, оказывается, может быть нежен и благодарен ей за доверие, за близость — это было открытие. С кем же она прожила три года в законном браке? С монстром, чудовищем? Она была так удивлена, что не могла вымолвить ни слова, когда Ветринский говорил ей, как он поражен и что он счастлив... Неужели это правда? И это было с ней? Разве это не обычная мужская ложь? Но она знала, что такие слова мужчины говорят не после, а до... Разве мог Ветринский оценить её порыв? Сколько сумасшедших студенток бегут за ним после лекций... И Женька всего лишь одна из них... И всё же, всё же она чувствовала свою правоту — куда-то исчез женский страх за каждый свой поступок и слово. Женька как бы говорила себе: я не знаю, хорошо или плохо то, что я сделала, но это случилось, и, может быть, впервые в жизни именно то, что она хотела, а не то, что предписывали обстоятельства и чужие мнения.

И, может быть, это была пусть маленькая, но победа над унижительным страхом быть хуже, чем своё собственное представление о себе самой.

— А пожалуй, хватит рассуждать, пора пожевать что-нибудь из домашних припасов, — сказала себе Женька и полезла в рюкзак. Достала булку и помидор и принялась откусывать от булки, а потом от помидора с таким видом, будто совершает очень важный ритуал.

Наконец к пристани подошел маленький речной трамвайчик, выгрузил невзрачных озабоченных людей в ватниках с корзинами и ведрами, полными грибов, и принял новую порцию горожан, рвущихся в природу.

Местные жители выделялись на их фоне плюшевыми пиджаками и мешками, которые они несли, не мудрствуя лукаво, через плечо. Женька притулилась на лавке, что была на верхней палубе, и задремала, положив голову на рюкзак. Услышав в громкоговорителе название причала «Залучье», Женька выбежала по шатким мосткам на берег.

Пасмурный день посветлел, как бы приветствуя Женьку, а старухи и бабы в накинутых платках деловито рассматривали сошедших на берег, ожидая загулявших в городе мужчин.

На Женьку никто внимания не обратил — девчонка в поношенной замшевой куртке, да еще с косичками, кепчонка вельветовая, да рюкзак — так, нескладеха-школьница. Специально нарядилась «под девчонку», недаром ей предлагали работать «травести» в одном областном театре. К такой девахе не липли мужские тяжелые взгляды.

Женька легко поднялась вверх по крутому берегу, вышла на сельскую улицу и пошла между домами так уверенно, будто её здесь давно кто-то ждёт и уготовано уютное местечко. Разве можно бояться неустроенности, когда каждый дом мечтает принять девчонку из столицы, — думала она и смеялась про себя.

Как она себе представляла, так и случилось.

Женька увидела старую женщину, что вышла из дома и остановилась у калитки. Их взгляды встретились, и Женька спросила, не сдаётся ли комната? Женщина улыбнулась приветливо, и Женька, не раздумывая, пошла на её радостный протяжный ответ: — Заходи, дочка, заходи, живи на здоровье!

Василиса, так звали радушную хозяйку, тут же провела гостью в парадную комнату. Здесь стояла никелированная кровать с латунными шишечками и горкой подушек, прикрытых кисейей, вышитое полотенце красовалось в дверце шкафа, который в деревнях почему-то называют шифоньер.

Женька знала, чем порадовать деревенского жителя, она достала из рюкзака батон колба-

сы, и Василиса радостно всплеснула руками — такой подарок (в доперестроечные времена) стоил дорого.

Вот и наступил долгожданный отпуск. Будто пружина раскрутилась, оставив в городе всё самое главное, а здесь и не жизнь вовсе, а как бы перерыв...

Прошло два долгих дня, и Женька почувствовала, как Время, такое быстрое и безжалостное в городе, здесь, в этой маленькой деревеньке, протянуло к ней свои руки для объятия, и Женька положила голову этому исполину на плечо...

Кругом был лес, озеро таинственно поблескивало на солнце, по вечерам небо было полно звезд, и надо было искать себе какое-нибудь занятие: куда-то идти, что-то делать. Женька вдыхала чистый, наполненный ароматами воздух. Но почему-то голова её кружится и вместо желанной бодрости вдруг начинала одолевать сонливость... И тогда великий исполин Время начинает душить, его объятия становятся невыносимыми.

Что происходит? — спрашивает себя Женька. — Да всё очень просто: ритм жизни замедлился, как лента кинематографа, и превратился в статичные фотографии. На каждой — твоё удивленное лицо и кусок Бытия, что ты, как краюху хлеба, откусываешь ежедневно и ежедневно на берегу не только этого озера, но и Вселенной... В городе в спешке, в «потоке» мы не можем так явственно ощущать живую упругость Бытия...

Каждое утро Женька ходила в лес. Однажды она вышла на поляну и обмерла: из травы торчали шапки подосиновиков, а рядом чинно, «взявшись за руки», шла семья «белых». Женька не дышала почти минуту, она не спешила броситься к этому чуду, она старалась изо всех сил запечатлеть лесную картину — как если бы это был её последний миг в жизни.

Она вспомнила маленькую историю из индийской философии: «Если за тобой гонится тигр, и, спасаясь от него, ты прыгаешь с обрыва, и в последний момент тебе удастся схватить ветки дерева, и ты висишь над пропастью, а сверху ты видишь разъяренные глаза хищника, и силы покидают тебя, но в этот мо-

мент перед твоими глазами оказывается маленький лесной цветочек — этот миг можно назвать подлинным мгновением бытия».

Напряжение, риск, гибель и красота — из этих компонентов и варится настоящий «суп жизни».

На этой поляне была только подлинная красота, никто не гнался за Женькой (она даже не подозревала о том, что в лес ходить одной небезопасно), но мгновение было настоящим, ибо она сумела запечатлеть его не только глазами, но и осмыслить.

Наша дачница возвращалась домой по лесной дороге и как бы несла перед собой сказочную поляну в косых лучах солнца: и запахи, и шорохи, и пение птиц. Она тогда еще не подозревала о том, что мучительные противоречия, в которых она билась, как рыба в сетях, делало её очень ранимой, и желание жить могло вот-вот порваться, и каждое радостное впечатление в природе или разговор с добрым человеком — всё это уводило её от гибели и было спасением.

Этот отпуск отделял её юность от взрослой жизни, в которую ей еще только предстояло вступить. От того, что она видела и слышала сейчас, зависело очень многое — будет ли продолжение, сумеет ли она собрать крупинцы душевного покоя, без которого немислимо жить дальше: ошибаться, страдать, мучиться, но держать про запас в памяти эту радость как источник собственной красоты и силы, что никому не отнять.

Женя пришла домой радостная, возбужденная, а Василиса посмотрела на неё хмуро и сказала: — Вона, к тебе женишок приехал!

Женька досадливо отмахнулась:

— Да что ты, Василиса, нет у меня никого!

— Болтай, болтай, девка! Все мы врать мастерицы! — продолжала она обиженно ворчать, и от её прежней хлопотливости и следа не осталось, будто Женька чем-то провинилась перед ней.

— Да кто, какой женишок? — допытывалась Женя и не могла поверить, что кто-то может так нелепо прервать её одинокие прогулки, размышления, закаты и тишину.

«Господи, никто мне не нужен сейчас! — подумала она с досадой и тоской, — зачем, когда мне так хорошо!»

— Пошел на пристань тебя встречать. Я ему сказала, что ты на лодке уехала! — горячилась Василиса. — Уж больно он плюгавый, а ты девка ладная, ты себе лучше найдешь, — сказала она и посмотрела на Женьку, как бы спрашивая, ну что, права я или нет?

Не хотелось Василисе никому отдавать приезжую девчонку. Вот бы одной любоваться её румянцем, болтать по вечерам за чашкой чая, слушать про далекую и непонятную столичную жизнь.

— Василиса, умница моя. Правильно сказала, а я теперь знаю, кто это. Это всё мать мне женишка сватает, он ей по вкусу, зятёк услужливый, вот и адресок дала, — наконец она поняла, что это Игорь. А про себя подумала: вот ведь как любит, и знает, что не мил, а поехал. Что это за дурная любовь, что она с людьми делает? Если бы Ветринский приехал! Да он и адреса не знает, а может быть, уже и забыл обо мне?

— Вот что, Василиса! Я сейчас вещи соберу да в чулан спрячусь, а ты скажи ему, когда он придет, что я уже уехала, а куда, сама не знаешь. Вот и пусть ищет на здоровье! — сказала Женя и успокоилась, только пожалела, что вечера тихого не будет. А хотела сегодня сделать портрет Василисы, уже карандаш наточила и ластик приготовила, соорудила самодельный мольберт из старых досок. Нет, не до рисования нынче. Придется прятаться, волноваться, ждать, когда Игорь, наконец, поверит и уйдет.

Василиса повеселела: — Вот так-то лучше. Хорошего человека не дождешься, а всякая шантрапа вон куда поедет, лишь бы голову морочить! — выговаривала она кому-то третьему, а не Женке.

— Да что ты, Василиса, так за меня переживаешь? Ведь знакомы-то неделю, может, я и такого жениха не стою! — смеялась Женя.

— Эх, девка, перевидела я вашего брата на своём веку! Вон куртенка на рыбьем меху, а мне сразу червонец кинула за хату. Другие вон месяц живут, а рубля не дождешься. Открытая ты душа, простая, ничего не утаишь! Тебя и облапошить недолго, чего уж там, вижу! — говорила Василиса и хлопотала возле Женки, будто насадка над цыпленком.

Женька слушала Василису и посмеивалась

про себя. Роль девчонки-школьницы удалась ей на славу, недаром занималась когда-то в театральной студии. Бабке и в голову не пришло, что у Женьки сын двухлетний и пишет она статьи и рецензии в газеты и журналы, обожают абстрактные отвлеченные понятия и пошла из-за этого на философский факультет. Но с чего она взяла, что Женька проста? Под простотой деревенская женщина подразумевала беспечное отношение к деньгам и колбасе, короче, полное отсутствие практичности и жадности. Да, тут она не ошиблась...

Но пора было спастись от «жениха». Женька отдала грибы Василисе, а сама спряталась в чулане с банками и кадушками, села на краешек лавки под тусклой лампой и принялась с карандашом в руке читать Анри Бергсона, будто его «Эволюция творчества» может помочь эволюции самой Женьки.

В коридоре послышались шаги, и Женька услышала голоса Василисы и Игоря. Бабка очень натурально объясняла ему, что Жени у неё нет и быть не может, это она, старая дура, всё перепутала и забыла сказать, что дивчина с черными глазами давно уехала, да и не одна. С ней какой-то военный был, кажется, лейтенант или капитан, она точно не помнит.

Василиса врала вдохновенно, Женька давилась в чулане от смеха, а Игорь всё топтался в прихожей и не хотел уходить.

— Милоч! Ну что ты со мной, старой, разговариваешь? Лети, касатик, догоняй, пока она за него замуж не выскочила. Небось, поехали заявление подавать!

После этой реплики Игорь не выдержал, забрал свою сумку и, понуро сутулясь, побрел прочь.

— Иди, иди, милоч, а то на пароход опоздаешь, — напуговала его Василиса, сложив руки на груди и досадливо покачивая головой.

Женька выглянула из чулана и бросилась Василисе на шею.

— Ай да бабулька, ай да умница! Ну, прямо народная артистка! — приговаривала она, не отрываясь от Василисы.

— Да ладно уж виснуть! Чего там? Скучаю я одна-то. А ты, если с милым начнёшь хоровод водить, разве с тобой посидишь вечерком, поболтаешь? Прыг-скок, и нет тебя, в обнимку и

за околицу. Знаю, небось, сама девкой была, вот только мало погуляла!

— Ах, Василиса, жаль, что ты не моя бабушка, вот бы славно было!

— Что ж, тебе матери с отцом мало?

— Мать с отцом сами по себе, а я сама по себе.

— Да что ты, девка, о родных-то?

— Не понимают они меня, Василиса.

— Ишь как заговорила, не понимают. А чего тебя понимать? Что ты такого в жизни сделала?

— Женька будто больной мозоль задела у бабки.

— Не сердись, Василиса! Это я так, считай, что пошутила.

— Да я не сержусь, вот только три сына у меня выросли, и ни слуху от них, ни духу. Вот помру, тогда приедут наследство делить. А тоже, наверно, говорят, что мать их не понимает. А меня кто поймет? Ведь я им жизнь отдала, свои молодые годочки... — Василиса заплакала... — Ах, да что говорить!

Женька обняла Василису, будто она и правда ей бабушка или тетушка, и с горечью подумала, почему к своим близким людям не чувствуешь такой пронзительной жалости? А как услышишь упрёки да пустяшные разговоры — в ответ рождается раздражение и злоба.

— Современные дети ни для кого не опора — такова новая социальная структура семьи, вот они, модные словечки: инфантилизм, эгоизм детей и неоправданный альтруизм родителей и вечная схема: нахлебники дети на шее родителей... Вот и получается, слава Богу, что они тебя в покое оставили, Василиса, и ничего с тебя не требуют, а то еще кормила бы их да обстирывала...

— Ишь, как заговорила! Ты, девка, видать, ученая, а я баба простая. Мне много не надо — открытку к 8 Марта да маленький гостинец к Рождеству, и навестить мать да крышу отремонтировать — тоже руки-то не сломались бы, и денегат могли бы прислать старухе матери, что их на груди выкормила.

— Василиса, хороший ты человек, буду я тебе вроде племянницы. И открытку напишу, и приезжать буду. Очень мне здесь нравится — душой отдыхаю. А сейчас пойду в огород червяков копать. Завтра рано утром на озеро, меня дядя Паша звал плотвичек ловить.

— Ну и чудная ты девка, Женя. Много у меня

городских перебивало: молодые нафуфыряются и на танцы либо в кино, да с кавалерами в обнимку валандаются. Смотришь, утром ухажёр из окна потихоньку шастает, а девка спит полдня. А ты всё книжки читаешь да со мной, старой дурой, чаи пьешь, да всё на природу любуешься — вон давеча какой букет принесла из леса и грибы сушишь — ну прямо не городская будто. Они всё больше спать любят, а ты еще на рыбалку собралась. Ну, виданное ли это дело для молодой девахи?

— Ах, Василиса, отец научил книжки читать да рыбу ловить. Дача у нас была под Ленинградом, я еще совсем маленькая была...

Женька вспомнила, как однажды отец брал её с собой на рыбалку. Они шли по лесной дороге, на плече удочки, в руке покачивалось детское ведро. Эта прогулка длиною пять километров запомнилась ей на всю жизнь, наверно, потому, что отец радовался природе как ребенок, который заигрался с серьезными техническими игрушками, которые он тоже любил, но природа возвращала его к своему «архетипу», когда мир был прост и неделим.

Они шли тогда к Щучьему озеру, впрочем, шук в нём давно не было. На берегу была тишина, говорить было нельзя — суровая сосредоточенность и, конечно же, никакой рыбы, лишь изредка попадались маленькие окуньки. Отец осторожно снимал их с крючка, бросал в воду и говорил: — Пусть подрастут.

И они опять ждали, когда приплывёт неведомое чудо и затрепещет в руках, обдаст брызгами воды. Но ожидание приносило тихий закат, покой и доверчивую ласку вечера. Отец несколько не огорчался, что нет добычи. Он складывал удочки с чувством выполненного долга, будто отдал природе то небольшое, что имел — несколько часов созерцания.

Именно тогда Женька почувствовала невыказанную отцовскую любовь к деревьям, облакам, птицам; угадала его трогательную непрактичность человека, что не поймал заветную чудо-рыбу, так и не стал в природе хозяином и властелином. Он мечтал стать охотником, но никогда не держал в руках ружья, и невозможно было представить его в роли убийцы утки или зайца. Кому-нибудь он показался бы недоушкой, на самом деле он был стихийным эколо-

гом и гуманистом и охранял природу уже тем, что не убивал в ней, а лишь любовался ею.

А вот стрелять Женьку отец научил в обычном тире, что-то вроде палатки — маленькие и большие железные кружки-мишени обозначали зверей: тут были зайцы и волки, утки и даже слоны. В юности Женька не упускала случая пострелять из «духовушки», ей нравилось удивлять сокурсников меткостью, когда они забредали студенческой компанией в парк культуры.

Да, отец мечтал о сыне, он мечтал о дальних походах, рассказывал о том, как они, молодые инженеры, веселой шумной командой сплавились на байдарках по бурным сибирским рекам, и Женька чувствовала себя уверенно в лесу и в лодке, и в воде не барахталась у берега, а уплывала далеко, пока сил хватало, как сильный и ловкий охотник.

И так шаг за шагом отец передал Женьке свои пристрастия, свои мечты, неосуществлённые желания, и они были важнее того готового, поданного на блюде богатства, что так часто отдают родители детям...

И вот теперь, будто выполняя заданный урок, Женька берет лопату и идёт в огород к мусорной свалке и без тени брезгливости деловито укладывает червяков в консервную банку, как когда-то в детстве учил её отец.

— Жень, иди борщ есть, — зовет Василиса, выйдя на крыльцо. Женька отрывается от своего занятия нехотя, она предвкушает завтрашнее утро, как может предвкушать выезд на природу охотничий пес.

— Ох, и вкусный борщ у тебя, Василиса, — говорит Женька, подбирая ломтиком хлеба остатки капусты в глиняной миске.

— Вот то-то. Такого в городе не поешь: у меня всё свеженькое, прямо с огорода. Картошку всю зиму свою ем, а в погребе у меня капуста засолена и грибки, и компоту нынче разного тоже «закрутила», — хвасталась Василиса своими припасами.

Женька представила себе дом Василисы зимой, наполовину засыпанный снегом, и её, одинокую, у окна.

— Ох, и скучно здесь, наверно, зимой! — сказала Женька, но Василиса вовсе не боялась зимы, а, напротив, удивлялась Женьке.

— И как вы в этом городе живете? Все бегут, народу пропасть, в автобус не втиснешься, с ног сбивают! Все у вас там в Москве чумные какие-то! — говорила она, радуясь, что живет в тихом Залучье.

Женька представила себе площадь перед Моссоветом, яркое темно-бордовое здание в обрамлении чугунных решеток, и ей так захотелось домой: подняться по Столешникову переулку и дойти до Филипповской булочной, выпить стакан кофе в гранёном стакане с ситником за 11 коп., вдохнуть московский воздух и зайти в сотый книжный магазин...

— Бабуль! А ты здание Моссовета видела?

— Разве я упомяну, может, и видела по телевизору.

— А на концерте в Колонном зале была? — Женька, как опытный социолог, изучала образ жизни сельского жителя.

— Какие там концерты! Я и в Москве-то была раз пять, когда там мой сын по лимиту работал. И то надо было муку закупить для брата и сестры да колбасы сколько увезешь. Вот и тащишься, как верблюд нагруженный.

— Василиса, милая! Как же ты жила?

— Жила как все, ела не досыта. Мать рано померла, а отец запил. Вот мы с братом и сестрой к бабке подались, жили кое-как. В пятнадцать лет на ферму пошла коров доить, а потом замуж — детей рожать, а нынче вот одна, никому не нужна...

Женьке хотелось плакать — две-три фразы и

вся жизнь. Разве так бывает? А Василиса смотрела на свои руки и о чем-то думала. Женька увидела негнущиеся грубые пальцы с черным ободком у ногтей. Она перед сном руки мажет кремом, а если моет посуду или стирает, тоже бежит за кремом, будто её руки — это большая ценность, да и всю себя она ощущает как редкий экземпляр человеческой породы, а Василиса — как беспризорное дерево с корявыми сучьями без любви и поддержки к себе самой...

— Господи! Я воображала себя несчастной! — сказала Женька вслух.

— Какие у тебя могут быть несчастья? Ты еще молодая — всё перемелется, мука будет, — Василиса поставила перед Женькой грибы. Они дружно смаковали подосиновики с картошкой, потом убрали со стола, заварили травяного чаю, сели рядом, подперли головы кулачками и запели. Женька пела свой репертуар: «Утро туманное», «Не искушай меня без нужды», «Вечерний звон», а Василиса — «Подмосковные вечера». Пели дружно, а думали о разном. Но случилось так, что старая Василиса и молодая Женька в эту минуту жизни изливали свою одинокую тоску и бились их сердца в такт.

1979, Москва — 2009, Вена

□

Наталья СТРЕМИТИНА (настоящее имя — Наталья Шурина).

В 1989 году издала свою первую книгу «Как быть любимой», спустя шесть лет последовала вторая — сборник повестей и рассказов «Приключения Тела» (1995).

Повесть из второй книги в переводе на немецкий язык была отмечена в Вене литературной премией «Kultur zwischen Kultur».

Позднее увидели свет книги «Рецепт для похудения» (2006), «Abenteuer des Krpers» (2008, на немецком языке), «Порыв» (2009).

Печаталась в русских газетах Германии, Израиля и в Америке.

В 1998—2002 гг. издавала журнал «Die intellektuelle FRAU».

Сейчас руководит программой «Мир в Европе» при поддержке магистрата Вены.

Живет в Вене.

